

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

На рубеже Азии. Очерки захолустного быта (Библиотека "Огонек ")

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», "В камнях", "На рубеже Азии", "Все мы хлеб едим...", "В горах" и "Золотая ночь".

*Мамин-Сибиряк Д. Н.
Собрание сочинений в 10 т.
М., «Правда», 1958 (библиотека «Огонек»)
Том 1 — с. 169–244.*

Содержание

I	.0004
II	.0027
III	.0048
IV	.0060
V	.0096
VI	.0112
VII	.0152
VIII	.0163
ЭПИЛОГ	.0182
Примечания	.0195

Мой отец был человек среднего роста, замечательно толстый, вспыльчивый, добрый и слабохарактерный. Последнее я понял, может быть, слишком рано, еще в том счастливом возрасте, когда люди всему на свете предпочитают сладкое, верят всем на слово и всякую книгу считают своим смертельным врагом. Бывало, отец сильно вспылит на что-нибудь, закричит, затопает ногами, и кажется, вот-вот возьмет да и переломит пополам своего собеседника, но как-то случалось всегда так, что именно в эту самую минуту появляется мать своими неслышными шагами, и отец вдруг стихнет и заговорит совершенно другим голосом; только изредка это быстрое затишье нарушалось очень резкими нотками, точно кто возьмет да и отрубит топором. Мать скромно садилась с работой куда-нибудь в уголок и все время самым сосредоточенным образом ковыряла какой-нибудь чулок, строго поджав губы. Я всегда с особенным любопытством наблюдал эту немую сцену и знал наперед, что, когда выйдет за дверь

тот человек, который заставил отца сердиться, мать, не подымая глаз от чулка, проговорит своим тихим ласковым голосом:

— Вам, Викентий Афанасьич, очень вредно горячиться... и Январь Якимыч как-то это же говорил.

— Да я, Пашенька... ах, подлецы, подлецы!! — раздражался обыкновенно отец страшными проклятиями, но это был уже последний удар грома.

Схватившись за голову, отец долго ходил тяжелыми шагами, от которых дрожали половицы; его большое строгое лицо с косматой бородой и сердитыми серыми большими глазами скоро смягчалось, и он немного виноватым голосом проговаривал, не обращаясь собственно ни к кому:

— Чайку бы напиться...

Мать молча поднималась с своего места, не глядя на отца, брала со стола всегда блесевший самовар и отправлялась с ним к печке: отец очень любил пить чай, и поэтому самоваром в нашей семье разрешалось очень много тяжелых минут, в которых не было недостатка. Я уверен, что не будь самовара,

этих тяжелых минут в нашей жизни было бы несравненно больше.

Отец служил священником в одном из уральских горных заводов, на самом плохом месте, какое только было во всей ...ской губернии, куда он попал благодаря своей горячности. Этот завод называется по речке Таракановке — Таракановским или попросту Таракановкой; в нем было всего полторы тысячи жителей, половина которых уклонилась в раскол, значит, приход был самый последний и едва ли давал отцу в год и сто рублей дохода, кроме двенадцати рублей жалованья, на которые приходилось существовать целому семейству в шесть человек. Правда, у нас была готовая квартира, состоявшая из двух комнат: кухни и чистой комнаты; готовое отопление и освещение и, кроме того, ежемесячно от владельца заводов выдавалось по полтора пуда ржаной муки на душу, что на шесть человек составляло в месяц девять пудов. Чистая комната служила гостиной, кабинетом отца, спальней; кухня была и приемной, и прихожей, и столовой, и детской. Я не понимаю, как моя мать могла ухитриться, чтобы

эти две комнатки всегда были и чисты и опрятны; но это было так, по крайней мере я не помню, чтобы в этих комнатках когда-нибудь был сор или грязь. Чистота — это был культ моей матери, вторая натура. На всех вещах, которые были в наших двух комнатках, непременно лежала эта строгая печать: скромная чистенькая мебель, посуда, платье — все было очень скромно, даже, может быть, слишком скромно и, вероятно, казалось бы очень бедным, если бы чистота не скрадывала пятен, заплаток и той особенной полировки, которую получают вещи от долгого употребления. Входящий в кухню не замечал, что он в кухне: русская печь, налево от двери, была замаскирована всегда чистенькой ситцевой занавеской, — направо от дверей, около стены, тянулась широкая деревянная скамья, перед ней стоял большой ломберный стол, на котором обедали, пили чай, а в свободное время работала мать с моими сестрами или я готовил свои уроки. Небольшой стенной шкафчик, тоже замаскированный ситцевой занавеской, уместал на своих небольших пяти полках почти всю кухонную посу-

ду, за исключением нескольких медных кастрюлей, которые хранились вместе с двумя серебряными ложками в большом деревянном сундуке, стоявшем за печкой, где была спальня и будуар моих сестер. На полу всегда были настланы чистенькие половики домашнего приготовления; около печки ярко блестел медный рукомойник с медным тазом; в переднем углу висел старинный образ в серебряном окладе; только одна картина, написанная масляными красками на железном листе, которая висела как раз против входа так, что всякому невольно бросалась в глаза, — одна эта картина представляла какое-то исключение из всей этой обстановки, а для меня — неразрешимую загадку. Эта мудреная картина изображала знаменитую сцену, происшедшую между целомудренным Иосифом и женой Пентефрия, и, нужно отдать ей справедливость, изображала очень плохо, хотя неизвестный художник не поскупился ни относительно красок, ни относительно фантазии. На первом плане была кровать, нечто среднее между эшафотом и комодом, а на кровати лежала совсем голая женщина с крас-

ным лицом и розовыми ногами, прикрытая какой-то сеткой, походившей на невод; она улыбалась и манила рукой Иосифа, который, оставив в ее руках часть своей верхней одежды, поспешно удалялся, неестественно загнув назад голову и как-то особенно смешно выворотив обе ноги, точно они были у него вывихнуты. Как попала эта странная картина в нашу скромную обстановку и зачем она висела прямо против входной двери, я до сих пор не могу объяснить этого себе, но картина висела несколько десятков лет и так всем нам примелькалась, что, кажется, никому и в голову не приходило, что она могла быть неприлична.

В чистой комнатке, в дальнем углу, стояла громадная двухспальная кровать, скрытая под шерстяным пологом; налево от двери стоял письменный стол отца; несколько дешевых стульев было расставлено вокруг стен; коричневый диван, перед ним «десертный» стол, а налево от дверей стоял громадный комод, оклеенный красным деревом. Этот комод составлял исключение в нашей скромной мебели, и я часто рассматривал эту диковин-

ную вещь, лучше которой ничего не мог себе представить. Я гладил рукой полированное дерево, прикладывал к нему щеку, дышал на него, наблюдая, как пар от дыхания мокрым пятном ложился на политуру и быстро высыхал; но медные ручки ящиков приводили меня просто в восторг и своим блеском и своей изящной работой в форме переплетавшихся между собой змеек. Отдельно от всей остальной мебели стоял высокий посудный шкаф, занимавший самое видное место: за его стеклами была собрана вся наша лучшая столовая и чайная посуда, две фарфоровых куклы, несколько кондитерских сахарных яичек и полдюжины ярко-расписанных фарфоровых тарелок, на которых в торжественных случаях подавалось варенье и десерт. Вообще, сквозь всю нашу скромную обстановку проходило несколько вещей каким-то исключением, и на них, кажется, сосредоточено было все внимание моей матери: она так всегда берегла их и каждый раз с особенным удовольствием вынимала их откуда-нибудь из глубины сундука потому, вероятно, что они безмолвно напоминали ей о лучшем времени. В

числе этих вещей были знаменитый комод, рукомойник, две столовых и полдюжины чайных серебряных ложек, несколько разрозненных чайных чашек, медные кастрюли, полдюжины фарфоровых тарелок, и, кажется, к ним же принадлежала знаменитая картина, с которой, по-видимому, у матери связано было или какое-нибудь хорошее воспоминание, или, может быть, даже суеверная надежда, что существование этой картины тесно связано с существованием всей нашей семьи. Что такие фамильные суеверия существуют и передаются из одного поколения в другое, в этом, вероятно, убедился всякий мало-мальски наблюдательный человек.

— Это еще когда мы в Махнёвой жили, — неизменно приговаривала мать каждый раз, вынимая какой-нибудь медный подсвечник или старинную фарфоровую чашку, причем непременно припоминалось с необходимыми подробностями какое-нибудь событие из жизни нашей семьи, так что по этим чашкам, тарелкам и ложкам можно было восстановить очень подробно историю нашего семейства — каждая чашка, каждое блюдечко говорили за

себя.

— Вот эту чашку с розовыми цветочками подарил тебе твой крёстный, — говорила мать, повертывая перед моим носом небольшую красивую чашку. — Тогда Викентий Афанасьевич купил в городе кобылицу, приезжает домой и говорит: «Пашенька, посмотри, какую я лошадь купил в городе», — а крёстный-то из-за его спины выставил эту чашечку и говорит: «А я вот крестнику чашечку тоже купил»...

«Когда мы жили в Махнёвой» — это было началом и концом всякого разговора в этих случаях, потому что в Махнёвой остались лучшие воспоминания нашей семьи, когда у нас была знаменитая кобылица, которую не могла обогнать в Махнёвском заводе ни одна лошадь, и много знакомых; мать относилась с каким-то суеверным чувством ко всякой вещи, которая напоминала жизнь в Махнёвой, за исключением небольшой изящной фарфоровой куклы, которая была известна в нашей семье под названием «секретаря» и которую сестры тщательно прятали от отца, потому что он уже несколько раз выбрасывал ее за

окно; мать хотя не выбрасывала куклы, но всегда делала вид, что не видит ее или приговаривала между прочим: «Это так... дрянная!»

— Не-ет, мне она, эта кукла, вот где сидит, — говаривал отец, показывая на свой затылок. — *Он* тогда и подкатил ко мне с этой куклой.

«*Он*», вместилище всяких зол и источник всяких наших злоключений, Амфилохий Лядвиев, был секретарь ...ской консистории; он учился вместе с отцом в семинарии, а затем они рассорились из-за каких-то пустяков, отец сгоряча написал своему товарищу очень оскорбительное письмо, и секретарь устроил так, что отца немедленно перевели из Махнёвой в Таракановку, то есть из очень богатого прихода в самый бедный. Эта история повторялась в нашем семействе тысячи раз, и отец каждый раз приходил в страшную ярость и кричал:

— *Он* хочет, чтобы я к нему с повинной пришел... взятку ему дал, консисторской крысе! Не-ет, шалишь... Викентий Обонполов расколотого гроша тебе не даст!.. *Он* думает, что

я покорюсь: не-ет... Было время, когда он для Обонполова за водкой бегал, подлец...

Когда пароксизм гнева проходил, отец с какой-то тихой грустью прибавлял:

— А ведь когда-то из одной чашки ели, на одной скамье сколько лет высидели... А теперь попал в консисторию, и черту не брат? А что такое консистория? Мне плевать на их консисторию... Quid est consistoria? Consistoria est oblupatio poporum, diacanicorum, diatschcorum cum prosvirhibus...[1] Ха-ха-ха!.. Вот что консистория... подлец сидит на подлеце, подлецом понукает! Ха-ха!

И отец смеялся нехорошим тяжелым смехом, точно он хотел заглушить им в себе того червячка, который день и ночь сосал его. Амфилохий Лядвиев, страшный призрак для нашей семьи, имя которого не произносилось в нашем доме, был по всей вероятности самый обыкновенный консисторский секретарь; но с этим именем были связаны самые тяжелые воспоминания, и я не иначе представлял его себе, как «в образе зверином», каким-то полумифическим существом. Мой отец отлично окончил курс в ...ской семинарии и как один

из лучших богословов получил место в Махнёвском заводе, где и зажил припеваючи; но ссора испортила неожиданно все, и день за днем наша семья приближалась к роковой нищете. наших маленьких средств не хватало даже на содержание, и моей матери пришлось зарабатывать деньги иглой; она шила платья, пальто, шубы; сначала это делалось потихоньку от отца, потом делалось под предлогом помощи каким-то дальним родственникам; но никакая тайна не остается тайной: отец как-то узнал горькую истину и, вместо ожидаемой вспышки, заплакал, как ребенок. Это были первые слезы в течение этой семилетней войны.

— Пашенька, мне стоит съездить к преосвященному, — говорил отец, — он меня помнит и переведет на другое место... Я ведь не за себя поеду просить, а за детей: зачем с детьми-то меня на старости лет пустили по миру?!. А?.. Зачем?

Но это были одни слова, звуком которых отец утешал и себя и нас; мать обыкновенно молчала и только ниже наклоняла голову, чтобы незаметно от всех вытереть невидим-

ку-слезу. Эти роковые семь лет сильно составили отца, волосы на голове и в бороде начали седеть, а главное, характер его сильно изменился; он начал ко всем относиться подозрительно, везде видел козни и интриги своего смертельного врага, Лядвиева, и сделался тем, что известно под именем «обозленного человека».

Нужно сказать, что чем сильнее одолевала нас бедность, тем больше вырастала наша семейная гордость, в жертву которой приносились последние гроши, причем не допускалось даже мысли, что можно было поступать иначе. Я очень хорошо помню, как наш обед делался все скуднее и скуднее, но стоило только повернуться чужому человеку в наш дом, — сейчас появлялось на столе вино и дорогая закуска, и начиналось самое усердное угощение; гость пил, ел и уходил, а мы оставались при нашем скудном обеде, и никому даже в голову не приходило, что лучше было истратить деньги, которые шли на вино и закуску гостям, на те бесчисленные нужды, которые все сильней и сильней окружали нас. В семье мы могли чувствовать всю тяжесть бед-

ности и скрепя сердце выносили большие лишения, но перед чужими людьми мы держали себя с большим гонором и бросали последние рубли с самым равнодушным видом, как будто совсем не нуждались в деньгах; эта мысль была наследственной, была каждому из нас понятна сама собою, и я уверен, что каждый из нашей семьи не мог представить себе другого порядка вещей. Самой страшной вещью для нашей семьи была мысль, что о нас скажут, и, боже сохрани, пожалуй, поставят на одну доску с заводскими лесообъездчиками или заводскими служащими, мелкой сошкой вообще.

— В прошлый раз у Сермягиных подали пирог с рыбой, а корка-то из второго сорта, — не поднимая глаз, проговорит иногда мать с такой улыбкой, что я, кажется, согласился бы десять раз умереть, чем подать гостям пирог из второго сорта. Слушая тихий разговор матери с отцом о ком-нибудь постороннем, я часто испытывал большой страх за участь этих посторонних, у которых все было не так, как у нас, то есть неизмеримо хуже; мое детское сердце сжималось от страха за участь ка-

ких-нибудь Сермягиных, и я вместе с тем сам начинал относиться к ним с приличной строгостью и даже с известным презрением, потому что был глубоко убежден в нашем семейном превосходстве.

Странно то, что эта семейная гордость переносилась даже на вещи, которых у нас не было; может, тут действовала просто зависть, но, с другой стороны, все, что было в руках других, для меня решительно не имело никакой цены, потому что только у нас были действительно хорошие вещи, а у других — все дрянь разная; я жалею, что не могу привести даже образчика той критики, какую мать задавала каждой чужой обновке — одним словом, в результате такой критики вещь по меньшей мере оказывалась негодной, если только не вредной. А что происходило в нашей семье, когда нужно было что-нибудь купить, сшить, заказать, — это было целое событие, которое делало в жизни нашей семьи эпоху, так что не говорили, что это случилось в таком-то году, а говорили, что оно случилось как раз в то время, когда шили шубу тому-то или такое-то платье матери или сест-

рам; к сожалению, таких событий было слишком мало в нашей жизни, и вдобавок они уменьшались с каждым годом, поэтому, вероятно, мы особенно и дорожили ими. Но вот новая вещь выдержала искус и попала в наш дом, — с этих пор она уже не допускала ни сравнения, ни критики: достаточно было уже одною того, что она в нашем доме; эти вещи, имевшие честь сделаться нашими, как бы переставали быть вещами, а составляли часть нас самих.

Наша семья состояла, как я уже сказал, из шести человек: отец, мать, старший брат, я и две сестры. Сестры были подростки, одной четырнадцать, другой пятнадцать лет; старшую звали Надей, младшую Верочкой. Надя была красива, всегда весела, любила поест, соснуть покрепче и заливалась таким звонким девичьим смехом, что даже отец, глядя на нее, бывало, засмеется, что с ним случалось все реже и реже; Верочка на вид выглядела простенькой, но была с прижимистым характером и необыкновенно выдержанна, а главное, все делала в меру, так что мать постоянно ставила ее в пример Наде и стыдила по-

следнюю, что сна уже невеста, а ума у ней все нет.

Сестры кое-как умели читать и писать, этим и ограничивалось их воспитание, зато по части хозяйства им было дано примерное образование: Надя любила рукоделья, Верочка помогала матери по хозяйству или, вернее сказать, — она одна вела все наше хотя и маленькое, но очень сложное хозяйство, потому что у нас была корова, а ходить за коровой, особенно зимой, для четырнадцатилетней девочки было очень трудно. Встать в пять часов утра, идти сейчас же из теплой комнаты на тридцатиградусный мороз, выносить поило корове, задать ей сена, подоить — все это такие операции, которые для всякой другой девочки составили бы непреодолимые препятствия, только не для Верочки; она, бывало, только покраснеет с мороза, храбро подтычет юбки и с улыбкой в десятый раз идет во двор. Зато уж любо было посмотреть на корову Верочки, — так она была всегда чиста, так умно держала себя и давала всегда такое отличное молоко.

Но сестры и моя собственная персона, все

это были только подробности, придатки к Аполлону Обонполову, первенцу и баловню всей семьи, моему старшему брату; он лет шесть уже учился в уездном духовном училище и приезжал домой только на святки и на летние вакации. Это был уже совсем молодой человек, ему было шестнадцать лет; высокого роста, очень сильный, с бледным выразительным лицом, серыми глазами, густыми черными бровями и чуть пробивавшимися усиками — он был для меня недостижимым идеалом, перед которым все преклонялись в доме и который был и общей надеждой нашей семьи, нашей гордостью, нашим счастьем и нашей общей слабостью. Понятно, что для Аполлоши ничего не было заветного; отец тратил на него последние гроши с самым довольным лицом, мать проводила бессонные ночи над работой «в люди», над которой потеряла глаза, — и все это затем, чтобы Аполлоша был, «как другие», в училище, то есть как дети богатых священников, благочинных и протопопов; у него было всегда приличное белье, приличное верхнее платье, книги и даже карманные деньги.

Нужно отдать справедливость Аполлону, что он не только не злоупотреблял своим исключительным положением, но платил большой любовью своей семье и с каждым годом делался тем, что желала в нем видеть мать (отец на все смотрел ее глазами); точно он отливался по ее рецепту: гордый, расчетливый, аккуратный, бережливый, считавший себя и свою семью выше всего на свете; отцу больше всего нравились в Аполлоне его физическая сила и прямота характера; сестрам — то, что он молодой человек, который хотя и обращался с ними свысока, но все-таки молодой человек, которым интересовались все заводские барышни.

Приезд Аполлона на вакации был для нас задолго предметом самых оживленных разговоров; последние дни ожидания были просто тяжелы от чересчур сильного нервного напряжения; Аполлон являлся всегда такой свежий и довольный и всегда привозил что-нибудь в подарок мне и сестрам. Это, кажется, были единственные подарки, какие мне случалось получать в детстве, и воспоминание о них для меня неразрывно связано с приездом

Аполлона. Бывало, с таким нетерпением жулишь около Аполлона, пока он здоровается со всеми, отвечает на вопросы отца и матери, но, наконец, эта скучная церемония кончается, Аполлон медленно запускает руку в карман голубого жилета, вынимает оттуда ключ и отворяет кожаный чемодан — тоже воспоминание о Махнёвском заводе. Как было все аккуратно уложено в этом чемодане, — кажется, не описать никаким пером: белье, книги, папиросы, разные безделушки точно так и родились вместе с чемоданом, по крайней мере я никогда не мог достигнуть такого искусства укладывать свои вещи в этот же самый фамильный чемодан, когда мне пришлось ездить с ним в училище. Грошовые подарки, которые привозил нам Аполлон, были так хороши, что я даже теперь, по прошествии долгих-долгих лет, испытываю чувство невольного волнения при одном воспоминании о них; я уверен, что никакие елки богатых детей не доставят такого удовольствия, какое мне доставлял чемодан Аполлона, окруженный самой таинственной неизвестностью и всегда оправдывавший мои ожидания самым

блестящим образом, потому что достаточно было уже одного того, что эти подарки привозил Аполлон.

Словом, Аполлон был для нас некоторым домашним божком, который все делал и говорил самым отличным образом, но у этого божка был один крупный недостаток — очень плохая память, так что, несмотря на все его усердие и самое отчаянное прилежание, он вместо двух лет сидел по четыре года в классе;[2] отец и мать смотрели на это довольно снисходительно, потому что Аполлон просто из кожи лез, чтобы учиться наравне с другими, и занимался с редким прилежанием даже во время каникул.

— Не лопнуть же ему в самом деле, — утешал себя отец. — Только я, бывало, всегда первым в классе сидел: загляну в книжку, прочитаю два раза, и кончен бал. Может, нынче труднее учиться стало, или учителя строгие; а как ты, Паша, думаешь, — не подводит ли Аполлошу тот?

Этот намек на консисторского секретаря казался матери совсем неосновательным, и она старалась успокоить отца чем-нибудь

другим, рассказывала приличный случаю пример, как у какого-нибудь священника сын в младших классах шел плохо, а в семинарии кончил студентом. Отец успокаивался и, вздохнув всей своей могучей грудью, прибавлял: «Претерпевый до конца — той спасен будет».

В каждый такой приезд Аполлона на каникулы, после первых приветствий, отец всегда спрашивал брата:

— А что отец Марк?

— Ничего; кланяется вам, папа.

— Еще пуще разбогател?

— У него, папа, двадцать лошадей, да хлеба лежит в амбарах по три тысячи пудов.

— Что же, большому кораблю большое плавание, а мы поближе к берегу, — с подавленным вздохом говорил каждый раз отец и обыкновенно прибавлял: — Только я так думаю: конечно, я получаю мало в Таракановке, а зато я не пойду кланяться каждому мужику, не буду кланчить сметану да масло... А все-таки отлично устроился отец Марк. Три тысячи пудов хлеба — это не баранья кожа!

— Дочери-то у отца Марка большие? —

спросила мать.

— Большие, — коротко отвечал Аполлон.

— Отлично, поди, одеваются?

— Да, ничего.

— Ведь вот, подумаешь, какая, видно, кому судьба, — говорил отец: — вместе на одной парте сидели: я, Марк да Амфилошка... Мы Марка больше Маркушкой звали, и учился он так себе, середка на половине, а теперь... три тысячи пудов, а?.. А все-таки я не завидую отцу Марку, потому я получаю жалованье от заводууправления и знать ничего не хочу... Отлично Маркушка устроился!

Наш домик выходил на небольшую четырехугольную площадь, упиравшуюся в заводской пруд; на берегу пруда стояла небольшая деревянная церковь, очень ветхая и когда-то очень давно выкрашенная сиреневой краской. Направо от церкви тянулась заводская плотина, под ней чернела фабрика, а за прудом белел каменный господский домик, в котором жил заводский управитель, француз Кабо; налево от церкви стояло несколько деревянных лавчонок, и сейчас за ними, на небольшом возвышении, красовалось «Пеньковское волостное правление» — большой новый пятистенный деревянный дом с ярко-зелеными ставнями. Завод Таракановка заброшен в самую глубь Уральских гор; расположен он на месте слияния трех небольших горных речек, из которых река Таракановка была самая большая и образовала небольшой заводский пруд, со всех сторон обложенный пестрой рамой заводских домиков. Если смотреть на Таракановку с высоты птичьего полета, она представлялась глубокой горной кот-

ловиной, окруженной со всех сторон невысокими лесистыми горками; люди заезжие находили ее очень некрасивым заводом и даже называли вороньим гнездом, но я никогда не мог объяснить себе подобного заблуждения и всегда считал Таракановку самым живописнейшим местом на свете. Самое замечательное в Таракановке было то, что во всем заводе не было ни одной точки, с которой не было бы видно леса и недалеких гор; крайние домики стояли наполовину в лесу или отделялись от него небольшими «кулигами», так что, куда ни посмотри — везде лес, настоящий сибирский лес, полный для меня неизъяснимой прелести.

Основан Таракановский завод очень давно, лет полтора-два назад, на месте небольшого раскольничьего поселка; раскольники, беглые из Сибири и разный иной сброд давно оценили р. Таракановку с ее дремучими лесами и свили здесь теплое гнездо; но один из русских промышленников «приглядел» это местечко под завод, выпросил его себе у правительства и выстроил фабрику. Первый владелец Таракановки, какой-то Коробейников,

основал еще несколько заводов на Урале, а затем умер; его наследники поделили заводы между собой, и в конце концов Таракановка очутилась во владении графини Х. Сама графиня никогда не бывала на своем заводе, все дело вершили разные управители, управляющие и доверенные; последний из них, француз Кабо, пользовался плохой популярностью и больше всего заботился только о дивидендах своей доверительницы. Рабочие называли его «наш Кобель»; мой отец отзывался о нем с величайшим презрением, во-первых, потому, что Кабо был католик и никогда не ходил в церковь, а во-вторых, потому, что и «имя у него было собачье»; вообще Кабо принадлежал, по терминологии моего отца, к тому разряду людей, который был помещен под рубрикой: «чужая ужна».

— Приехал, нажил денег и уехал, — говорил отец: — такое ему и имя: чужая ужна и есть!.. И живет, яко пес: постов не соблюдает, жрет зайцев, голубей, воробьев...

Жителей в Таракановке было до полутора тысяч, это были большею частью закоснелые раскольники, «кержаки», как называл их

отец; в окрестных лесах, особенно в верховьях речки Таракановки, было несколько раскольничьих скитов, где самым мирным образом проживали разные старцы и старицы. Отец не умел ладить с своей паствой, постоянно горячился в спорах и, наконец, махнул на непокорных овец рукой; кержаки относились к нему индифферентно и только изредка ради шутки косвенным образом давали заметить свое озлобление, отпуская выражения вроде того, что «вес не попова душа», и т. п.

Ядро таракановской аристократии составляли две фамилии заводских служащих: Сермягины и Портнягины; из представителей этих двух фамилий составилась весь контингент заводских служащих: тут были и понытки, и запасчики, и расходчики, и надзиратели, и дозорные — словом, как говорил отец, всякого жита по лопате. Замечательнее всего было то, что эти две фамилии страшно враждовали между собой, и эта семейная вражда переходила из рода в род, так что происходило нечто вроде войны гвельфов и гибеллинов: то повышались Сермягины и падали Портнягины, то начинали забирать силу

Портнягины, а Сермягины «захудали» и клонились к упадку. Только два человека из этих семей представляли собой исключение: Иван Меркулыч Сермягин и Январь Якимыч Портнягин — они не только не враждовали, а жили душа в душу; Иван Меркулыч, или попросту Меркулыч, занимал должность волостного писаря. Январь Якимыч «состоял на обязанности лекарского ученика», как он выражался. Обыкновенно Января Якимыча звали Январем или просто «учеником», но это не мешало ему быть замечательным человеком во многих отношениях, начиная с его наружности: маленький, сухонький, с маленькой седой головкой и какими-то забавными пучками на висках, он резко отличался от всех остальных обитателей Таракановки, а для меня лично на «ученике» лежала видимая печать того замечательного обстоятельства, что Январь Якимыч, после Кабо, был единственный человек на заводе, который «был даже в Москве». Для меня последние слова имели магическое действие, я всегда смотрел на Января, как на выходца с того света; даже отец, и тот, хлопнув своей могучей рукой «ученика»

по плечу, не раз говаривал: «Ведь смотреть, братец, не на кого, а был в Москве... а?»

Жил Январь Якимыч одиноким старым холостяком в какой-то конурке, отгороженной им в заводской аптеке за большими шкафами; чрезвычайно добрый, по-своему умный, Январь Якимыч все свои досуги посвящал исключительно двум предметам: во-первых, рыжей корове, которую он ухитрялся держать тоже при аптеке, в каком-то чулане, а во-вторых, рыбной ловле, в которой не знал соперников. Практики у старика было очень немного, да и болезни были самые простые: мужики маялись головой и поясницей, бабы «скудались животом и зубами», и только изредка, для разнообразия, у кого-нибудь «подкатит под самое сердце». Январь Якимыч относился к своей обязанности очень серьезно и с самым трогательным усердием «пользовал от головы, живота, поясницы и от сердца», причем больные выздоравливали, кажется, больше благодаря доверию к «ученику», чем его микстурам. В каморке Января Якимыча все вещи были «из Москвы», хотя в Москве старик был лет сорок тому назад; ходил Ян-

варь мелкой дробной походочкой, «сыпал», постоянно улыбался, щурил глазки, поправлял пугольки на висках и любил уснащать свою речь двумя прибаутками, которые не сходили у него с языка: «А, чтоб тебя собачки заели! А, чтоб тебя кошки залягали!» Богомолен был Январь до неистовства и притом имел странную привычку молиться вслух; поздно вечером, стоя на коленях и откладывая земные поклоны, он громко молился «о коровушке-буренушке, гуляющей на зеленой муравушке».

Я уже сказал, что Январь и Меркулыч жили в большой дружбе между собой, и только раз эта долголетняя дружба чуть было не порвалась совершенно случайным образом: Меркулыч принес из лесу в корзинке «облако», а Январь просмеял его и доказал, что это «облако» Меркулыча какой-то сморчок или лишай. Как теперь вижу Меркулыча: небольшого роста, довольно плотной комплекции, с круглым и румяным, как спелое яблоко, лицом, с сильно напояженными светло-русыми волосами, он, после брата Аполлона, всегда казался мне самым красивым человеком

в свете; небольшая русая бородка, усы, черные брови и два ряда удивительно белых, точно выточенных из слоновой кости зубов придавали его физиономии самое степенное благообразие, какое я только мог себе представить. Одевался Меркулыч скромно, но прилично; его казинетовое пальто было всегда чисто, по праздникам он надевал белые накрахмаленные сорочки и с необыкновенным искусством повязывал пестрый галстух на шее, в торжественных случаях надевал ярко-зеленые лайковые перчатки и носил с собой тоненькую камышовую тросточку, предмет сильнейшей моей зависти. В будни Меркулыч ходил в простых ситцевых рубашках и прятал казинетовые брюки за сапоги, что он делал не по недостатку вкуса, а из экономии. Скромность Меркулыча и его тихий, хотя и не без известной доли упрямства нрав делали его общим любимцем, тем более что он обладал секретом вечной веселости, самого ровного расположения духа и самым безобидным юмором, который разыгрывался с особенной силой в присутствии барышень; к последним Меркулыч питал большую слабость, но дер-

жал себя очень скромно. Меркулыч был доволен собой до глубины души, если ему удавалось сказать острое словцо; в разговоре, к месту и не к месту, он часто прибавлял две поговорки, которые находил очень смешными: «еще хуже» и «как дров». За этим прекрасным человеком во всех отношениях была одна слабость: он пил водку очень редко, но зато уж как попадало ему пять-шесть рюмок, он лез на стену и выделывал чудеса, причем обнаруживал крайне разрушительные наклонности — лез драться, ломал все, что попадало под руку, вообще держал себя самым непозволительным образом и совсем не походил на себя: делался бледен, как полотно, глаза наливались кровью, рвал на себе платье и даже, в один из таких припадков, сломал свою камышовую тросточку. Обитатели Таракановки, принимая во внимание общую сумму достоинств Меркулыча, великодушно извиняли ему его единственный недостаток, выражаясь довольно коротко: «Меркулыч у нас разрешил». По воскресным дням Меркулыч непременно являлся в церковь, и хотя очень недобливал дьячка Кинтильяна, самого отчаян-

ного скандалиста, какого мне только случилось встречать, но всегда становился на первый клирос и подпевал Кинтильяну довольно приятным тенором, вместе с Январем Якимычем, который тоже был не прочь спеть «пофигуристее»!

Волость была в двух шагах от нашего дома, и я постоянно бегал туда; в волости всегда был кто-нибудь, и непременно что-нибудь рассказывали. Правда, иногда здесь происходили, может быть, слишком откровенные разговоры для моего возраста, но с двенадцати лет я пользовался уже полнейшей свободой, и меня трудно было удивить откровенностью по части разговоров. В волости всегда можно было застать картину: Меркулыч вечно что-нибудь скрипит пером на бумаге, в углу комнаты непременно режется в шашки старшина Прошка с кем-нибудь из своих благоприятелей — с церковным старостой Емельяном Иванычем Рукиным, или с сидельцем Вахрушкой, или, наконец, с Январем Якимычем, который до страсти любил задать партнеру «воздушный или пароходный нужничек». Прошка сильно походил на медведя,

только что поднятого с берлоги: громадного роста, косая сажень в плечах, с большим зверским лицом и маленькими свинными глазками, совсем заплывшими жиром; всего замечательнее у Прошки был его могучий затылок — такие затылки можно видеть только где-нибудь на памятниках. Что касается до нравственного характера Прошки, то это был зверь в полном смысле этого слова, особенно когда он напивался пьян, а пьян он был на правах старшины с утра до вечера; в течение восьми лет Прошка своими десяти пудовыми кулаками отправил на тот свет две жены и теперь подыскивал третью. До толстых баб Прошка был большой охотник, и рабочие называли его за это Быком.

Интересная игра в шашки в волости кончалась всегда одним и тем же: как Прошка ни потел, как ни чесал затылок, а Январь Якимыч всегда непременно загонял его «в места злачные». Рукин был старик лет шестидесяти, благообразный и седой, но очень хитрый и постоянно улыбавшийся; у него на рынке была небольшая лавчонка, в которой он бойко торговал «панским товаром», то есть обувью,

чекменями, азямами, конской сбруей, рукавицами и разными другими товарами, в которых нуждался рабочий люд. Вахрушка, сиделец, красивый парень лет двадцати пяти, славился тем, что ежегодно «уносил круг о Николине дне», когда в Таракановке происходила борьба; Вахрушка «завязывал узлом» даже Прошку с его неизмеримым затылком и вообще пользовался репутацией отпетой башки. Прошка, Рукин и Вахрушка составляли «таракановскую троицу», как говорил отец, и были неразлучны: утром играли в шашки в волости, а по вечерам резались в стуколку у Рукина. Относительно этой троицы в Таракановке громко говорили все, что и Прошка, и Рукин, и Вахрушка «пошли жить от старцев»; именно, ходили всевозможные рассказы о том, как эта троица подсмотрела где-то в горах раскольничий скит, старцев и стариц передушила и забрала себе многое множество денег, меду, восковых свеч, дорогих икон и т. п.; между прочим, передавали, со всеми подробностями, как троице досталось одной медной монеты пять больших мешков, в каких продают муку. В подобных случаях ничего неверо-

ятного не было; случаи подобного рода в летописях Таракановки не были исключительным явлением: одной рукой подавали в ски-ты, а другой зорили их.

У Рукина и Прошки были отличные новенькие домики, стоявшие недалеко от волости; между ними приютилась небольшая избушка нашей просвирни Луковны. Эта маленькая на вид избушка внутри делилась на три комнаты: в одной жила сама Луковна с дочерью Олимпиадой, или попросту, как все ее называли, Лапой и даже Лапухой; в другой комнате жил сын Луковны, дьячок Кинтильян, а в третьей помещался Меркулыч. У избушки Луковны ворот не было, а стояли одни столбы; крыша давно прогнила, кирпичи в трубе выкрошились, и у окон недоставало нескольких кирпичей. Но это наружное убожество с излишком выкупалось тем, что находилось внутри избушки Луковны.

Комната Луковны отличалась полным отсутствием мебели, за исключением двух лавок и некрашеного стола; перед русской громадной печкой стояло несколько ухватов, полка с горшками, чашками и самоваром бы-

ла рядом — вот и все. Остальное имущество помещалось частью на печке, частью за печкой и состояло из какой-то невообразимой ветоши да двух-трех стареньких ситцевых платьев.

Луковна была вдова; ее муж был дьяконом в Таракановке. Это был очень добрый и очень умный человек, но вечно пьяный и не имевший совсем характера.

Если моему отцу тяжело приходилось жить в Таракановке, то дьякону приходилось вдвое тяжелее, потому что он получал вдвое менее жалованья и доходов, а Луковне в десять раз тяжелее всех, потому что муж пропивал половину жалованья и, главное, мешал работать и буянил. Однако, несмотря на все это, Луковна ухитрилась выучить старшего сына в семинарии; другой ее сын хотя и жил с ней вместе, но не только не помогал ей, а даже тащил в кабак из ее гардероба или убогой утвари, что попадало под руку. Когда у Луковны учился старший сын в училище и семинарии, каждый месяц нужно было посылать в город пять рублей за квартиру, нужно было белье, верхнее платье, сапоги, — я отказыва-

юсь понять, каким образом сколачивалась Луковна, когда в доме не было гроша. По смерти дьякона, которого Луковна горько оплакивала, она жила по-прежнему, с той разницей, что ее никто не ругал, но это не мешало Луковне часто вспоминать мужа, и чем больше проходило времени, тем воспомина-ния эти делались как-то живее, и дьякон являлся в них почти отличным семьянином. Забывала ли Луковна свои огорчения, вспоми-нала ли свою молодость, когда дьякон еще не пил, или смерть примирила ее с отцом ее де-тей, — трудно сказать, но Луковна никогда не говорила ничего дурного про своего мужа. Мой отец и все одинаково уважали эту жен-щину; сама Луковна держала себя всегда ров-но и спокойно, была приветлива и не теряла этого равновесия души и часто смеялась сквозь слезы над какой-нибудь выходкой сво-его «заблудящего дьякона», как она называла мужа. В детстве я половину своего времени проводил в избушке Луковны, которую очень любил, и как теперь вижу ее: небольшого ро-ста, широкая в плечах, с сильными загоре-лыми руками; смуглое скуластое лицо ее с

небольшими черными глазами, совсем черные волосы на голове, густые брови, немного приподнятые скулы, горбатый нос и большой рот, все это носило немного восточный отпечаток, особенно когда Луковна улыбалась. Здоровье у нее было железное, и это, кажется, было единственное богатство, каким наградила ее судьба.

Старший сын Луковны, кончив курс в семинарии, уехал в Петербург и там поступил в медицинскую академию; он очень редко писал матери, и эти письма были настоящим праздником для нее. Когда долго не было писем, она беспокоилась, вздыхала, часто плакала, начинала видеть дурные сны, а в сны она слепо верила, и, странное дело, эти сны почти всегда оправдывались; увидит Луковна печь — значит, будет печаль, увидит воду или хлеб — письмо от сына из Петербурга. Читать Луковна не умела, поэтому все письма ей читали другие — Меркулыч, иногда я или отец; Луковна во все время такого чтения обыкновенно стояла, склонив немного голову набок, с самой блаженной улыбкой на губах, а по смуглому лицу так и катились счастли-

вые слезы.

— Трудно ему, моему Сереже, — говорила Луковна, бережно складывая письмо: — город большой, все чужие... И в Таракановке-то как трудно жить, а в Петербурге-то ихнем, поди, в десять раз труднее. Сколько я говорила Сереже, чтобы он не ездил туда, а поступал в священники; что в этом учении ихнем, когда до седых волос надо учиться. В семинарии Сережа проучился двенадцать лет да в академии этой надо проучиться шесть лет — ведь это восемнадцать лет, а там сколько еще прослужит доктором-то!

— Зато уж выучится, Луковна, так хорошо будет, — говорил отец: — полторы тысячи жалованья будет получать, дом тебе купит.

— Ах, отец Викентий, мне уж немного и жить-то осталось, как-нибудь дотяну и без дому, а помру — и дом будет, из которого не вылезешь.

Дочь Луковны Лапа была старше меня годом или двумя и была бела, как русалка; волосы у нее были, как лен, голубые глаза и смешные, совсем белые брови и ресницы — вообще она была полной противоположностью

своей матери и наследовала от нее только здоровое, сильное тело, так что в пятнадцать лет уже совсем сформировалась и выглядела невестой. По характеру это была девка сорви-голова, которая при матери была ниже травы, тише воды и ходила с опущенными глазами, а без матери выказывала самые козлиные свойства характера, дурачилась, хохотала и визжала самым необыкновенным образом, так что, бывало, даже вздрогнешь, когда услышишь нечаянно этот странный визг и смех.

Как я уже сказал, я «живмя жил» у Луковны и был в ее избушке как свой человек; когда не было Меркулыча или он был занят, я сидел с Луковной, особенно в бесконечные зимние вечера, когда дома была скука смертная, а в комнате Луковны горела в светце березовая лучина и она под мигающее пламя этой лучины пряла бесконечную нитку, сопровождая свою работу какой-нибудь песенкой. Но особенно тянуло меня в комнатку Меркулыча, никакой музей не представлял для меня такого интереса, как эта каморка, имевшая в длину шагов десять и в ширину

шагов пять и одним окном выходявшая на площадь; деревянные стены ее были оклеены синими обоями и были, как в музее, увешаны всевозможными предметами: картинки, фотографии, два ружья, маленький револьвер, известный под названием «кулачка», которым Меркулыч гордился больше всего; всевозможная охотничья сбруя, несколько кинжалов, целый арсенал удочек, гитара, несколько птичьих чучел, оленье рога; небольшой тюменский коврик над деревянной кроватью, полочка с книгами, счеты, стенные часы с кукушкой, коллекции бабочек и минералов — словом, всего не перечислишь; небольшой ломберный столик в углу был буквально завален разными интересными «штучками», в числе которых первое место принадлежало бронзовой чернильнице, имевшей форму «гробницы Наполеона», как уверял меня ее владелец. Три деревянных стула, деревянный диван и небольшой комод дополняли обстановку этой комнатки.

— Ну, Кирша, давай чаевать, — говорит, бывало, Меркулыч, облакаясь в пестрый халат; «чаевать», то есть пить чай, в каморке

Меркулыча было верхом блаженства, потому что в промежутки между стаканом чая и выкуриваемых папирос Меркулыч имел обыкновение играть на гитаре. Его репертуар был очень невелик, но я с новым удовольствием в сотый раз выслушивал неизменную польку «трамблям», какой-то «плач Наполеона», «вальс-казак» и еще несколько песен: «Гляжу я безмолвно на черную шаль», «Хуторок», но лучшую часть репертуара составляли «Барыня» и очень смешная песня «Чепуха». Меркулыч, заложив ногу на ногу и не выпуская из зубов папиросы, необыкновенно весело напевал «Чепуху», содержание которой я помню и теперь:

*Поп надел чужой жилет
И наморщил брови,
Вдруг подъехал к нему дед
На седой моркови...
Чепуха, чепуха, чепуха... (bis),*

Или:

*Черт намазал мелом хвост,
Напомадил руки
И из погребца принес
Жареные брюки...*

Эта замысловатая песня не имела конца, и Меркулыч даже приделал к ней некоторое продолжение «от собственного чрева», как он скромно выражался о своей авторской деятельности.

С двенадцати лет я пользовался неограниченной свободой, и мы провели с Меркулычем много отличных дней на охоте в горах; весной проводили целые ночи, лежа в закрадках на тетеревиных токах; после Петрова дня, когда поспевали выводки утиные и рябьиные, ходили за свежей дичью, а глубокой осенью отправлялись за глухарями и, наконец, по первому снегу, били «поспевшую белку». В лесу Меркулыч был как у себя в квартире, отлично знал все хорошие места, где водилась дичь, а в ней недостатка на Урале не было, и особенно хорошо он знал нрав, привычки, все хитрости и уловки той дичи, с какой приходилось нам иметь дело. С неподражаемым искусством он каким-то чутьем распутывал все хитрости утиных выводков, глуповатых глухарей и увертливой белки, которая летом, когда шкурка на ней была совсем красная, преспокойно сидела над вашей головой, но зато с первым снегом, когда «поспевала» и делалась серой, она, как молния, забиралась в такие густые ели, откуда ее мог добывать только один

Меркулыч; небольшая сибирская собачонка Лыско, принадлежавшая Меркулычу, хотя и походила на дворняжку, но отлично отыскивала дичь, облаивала глухарей, искала белку верхним и нижним чутьем и даже приносила из воды убитых уток; только относительно зайцев, которых Меркулыч стрелял только зимой, для шкурки, Лыско не мог выдержать характера и, задрав хвост кольцом, с визгом убежал от нас, несмотря ни на какие увещания. По зимам Меркулыч стрелял зайцев, а когда выпадет глубокий снег, мы ездили с ним на особенных охотничьих пошевнях с высокими копыльями стрелять тетеревей «с подъезду» или на чучело. О рыбе и говорить нечего — Меркулыч, кроме Января Якимыча, здесь не знал соперников и, когда не ходил на охоту, ловил щук, окуней, ершей и налимов с необыкновенным искусством.

По зимам я целые дни жил с салазками на улице, где с товарищами по возрасту проводил время самым веселым образом, главным образом катаясь с горы; короткий зимний день промелькнет незаметно, не успеешь оглянуться, а уж кругом темно, значит, давно

пора идти домой. У меня был дубленый нагольный тулупчик, в котором я ходил по зимам; этот тулупчик очень часто бывал причиной большого горя для меня, потому что после дня, проведенного в снегу, он получал самый жалкий вид, и мать говорила, что его хоть выжми, вода так и бежала с него. Понятное дело, что когда я являлся домой в таком печальном виде, мать читала мне длиннейшее нравоучение и часто наказывала: ставила в угол, оставляла без чаю, а главное — имела жестокость запира́ть меня в комнату на несколько дней, отдавая в жертву шуточкам отца, который обыкновенно говорил в этих случаях:

— Что, паренек, видно, в образе смирения... а?... Видно, мать-то прижала тебе хвост... а?... Ну, да твое не уйдет, бегаешь, как саврас без узды.

Отец совсем не вмешивался в мое воспитание и предоставил его матери, а с меня требовал только твердого знания тех уроков, которые задавал мне; благодаря отличной памяти мне было достаточно прочитать по учебнику раз или два, и я отлично отвечал какой угод-

но урок. Между мной и отцом установились дружественные отношения, но мать держала со мной имя свое грозно, и я сильно побаивался ее, потому всеми силами старался не попадаться ей ни в чем предосудительном. Мой мокрый полушубок был причиной наших недоразумений, поэтому, подходя вечером к своему дому после веселого дня, я долго ломал голову над вопросом, как бы попасть в комнату так, чтобы мать не заметила бедственного положения, в каком я находился. Последнее было сделать очень трудно, потому что мать и сестры работали вечерами в передней, и как только отворишь дверь, мать и головы не подымает, а уж чувствуешь, что она видит все, и вперед краснеешь, и падаешь духом в ожидании головной боли. Надя всегда, бывало, пожалеет, а Верочка, — та, наоборот, еще подведет под грозу, потому что еще сильнее матери следила за неприкосновенностью моего полушубка. Были некоторые обстоятельства, которые давали мне возможность избегать справедливой кары: во-первых, когда бывали у нас гости, я шел смело, потому что на меня тогда никто внимания

не обращал; во-вторых, если пили чай в гостиной, тогда я без шума отворял дверь в переднюю, неслышно снимал полушубок и прятал его на печку и после некоторой паузы появлялся в дверях гостиной, пряча за спину красные, опухшие от мороза руки. Мать и сестра делали вид, что совсем не замечали меня, но отец всегда спасал меня в этих случаях, обратив все дело в шутку, и я, утирая нос рукавом рубашки, скромно помещался подальше от матери в ожидании горячего чая со сливками.

Однажды, как теперь помню, мы сильно заигрались с Пашей Сермягиным; вдруг на заводских часах пробило шесть часов — положение было поистине ужасное, потому что в восемь часов у нас ложились спать, и нечего было думать о спасении — спасения не могло быть. В глубоком раздумье брел я домой и издали увидел, что в гостиной огня не было и все сидят в передней; в освещенное окно было видно, что мать и сестры сидят за работой у стола, а отец ходит по комнате — значит, все кончено, Кирша пропал. У меня упало сердце от страха, и в голове мелькнула мысль

совсем нейти домой, а провести ночь на улице, но это было легко подумать: я давно чувствовал большую усталость во всем теле, хотел есть, как волк, и главное — промерз до костей, и ноги были давно мокры. Я остановился недалеко от дома, чтобы перевести дух и собраться с силами; в это время мимо меня шмыгнула маленькая старушка, в которой я сразу узнал Климовну: я был спасен и совершенно незаметно пробрался за Климовной прямо на печь, всегда представлявшую для меня самую неприступную крепость в свете. Климовна была старуха-повитуха и знала решительно все, что делалось в Таракановке, и тихим голосом по целым часам о чем-то рассказывала матери; когда входил в комнату отец, Климовна сразу меняла тон и слезливым голосом начинала жаловаться на разбойника-зятя. Отец сам догадывался уходить, когда Климовна заводила речь о разных щекотливых новостях, а мать под каким-нибудь предлогом высылала сестер в гостиную...

Итак, я совершенно незаметно пробрался на печь и наслаждался живительной теплотой, которая согревала мое продрогшее, изму-

ченное тело; отец ушел в гостиную читать какую-то книгу, сестры ушли с работой за ним, а я остался на печи всеми забытый и наслаждавшийся своей безопасностью. Климовна с таинственным видом под села к матери и торопливо заговорила своим шепотом, сильно жестикулируя. Я никогда не интересовался ее болтовней, но на этот раз сделался невольным слушателем, и притом самими обстоятельствами принужден был лежать совершенно тихо, так что до меня отчетливо долетало каждое слово тихого шепота Климовны.

— Бык-то наш как увязался за Лапой, — повествовала Климовна, отворачивая от огня свое сморщенное, как моченое яблоко, птичье лицо: — а она к нему так и льнет... Стыдобушка головушке, матушка моя! Луковна-то совсем ума решилась было с горя, а девка дурит, и кончено... Ведь сама бежит к Быку-то!

Мать была настолько поражена, что только качала головой; мне хотя и было четырнадцать лет, но я уже понимал, о чем шла речь, и даже наострил уши.

— Да и мудреное дело Луковне возиться с девкой, — продолжала Климовна: — живут

они с Быком сутыч огородами-то, где тут усмотришь за ней: вывернется из избы за каким делом, а сама к нему... И-и, какое мудреное дело!.. Бык-то нальет себе шары[3] да и ходит как очунелый...

Как-то напился, давай искать ее, а мать услала ее в соседи, он за ней, она от него. Так, слышь, на стену и лезет!.. Колотить хотел, только старуха Митревна пожалела девку да уж в подполье ее от Быка-то и спрятала. Такое дело, такое дело, что и думать не придумаешь, а сраму-то, сраму-то?!. Ведь Бык-то рассердится, да с Вахрушкой по бревнышку разнесут избушку у Луковны!

— Жаль, пропала девка-то.

— Чего и говорить, мать моя: совсем пропала, ни за грош... Надо бы ее замуж сейчас, как она заневестилась, а где их, женихов, в Таракановке-то возьмешь.

Я скоро уснул под этот тихий шепот, а когда проснулся, было уже утро; разговор, который я слышал вчера, конечно, забыл и вспомнил о нем только тогда, когда пришел к Луковне и встретил там жестокую баталию. Сначала я не узнал Луковны: она просто неистов-

ствовала. Лапа безмолвно сидела у окна и только тихо вздрагивала полными плечами, когда удары сыпались на нее.

— Убью, своими руками убью! — с пеной у рта кричала расходившаяся старуха. — Я тебя родила, я тебя и убью... На цепь, как собаку, прикую!..

— Убейте, мне легче будет... — шептала Лапа, не подымая глаз.

Луковна схватила дочь за белую косу и потащила ее по полу: она не замечала меня, что я стою в дверях, и я поспешил отретироваться. После этого я несколько раз бывал у Луковны, она похудела и была совсем убита, но работала, не разгибая спины, точно хотела разогнать усиленным трудом свои черные мысли; Лапа с опущенной головой сидела тоже за работой с утра до ночи, и больше не раздавалось ее звонкого визга и смеха. Однажды отец послал меня за Луковной и, уведя ее в гостиную, долго с ней о чем-то говорил; когда Луковна ушла, отец сердито проговорил, обращаясь к матери:

— Я еще умной женщиной считал, а она уперлась, как пень, — хоть кол на голове те-

ши... Ведь срам! Как я сказал ей, чтобы она прогнала от себя ту, куда тебе, сейчас на дыбы. Выжила совсем из ума старуха! Ведь ее же жаль: хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит...

— Ах, Викентий Афанасьич, — с упреком говорила мать, — разве так можно... Ведь она мать: умного жаль, а дурака вдвое.

— Что же мне-то делать? Я и раньше говорил ей: «смотри», а теперь уж поздно. А как начал я советовать ей, чтобы ту определила к отцу благочинному, опомнилась, подумаю, говорит.

Из этих слов и нескольких разговоров в том же духе я понял, что речь идет о Лапе, которую общим советом хотели отправить на исправление к благочинному; Климовна «чистила» к нам и приносила каждый раз какие-то свежие новости, которые и передавала матери под величайшим секретом. Меркулыч безвыходно сидел в своей волости, но, как я заключил по его поведению, совсем ничего не знал о случившемся событии; поэтому отчасти по терзавшей меня потребности непременно кому-нибудь выболтать лежавшую на

моей душе тайну, отчасти из желания вывести Меркулыча из тьмы неведения, но без малейшего злого умысла я однажды, когда мы вдвоем сидели в волости, подробно рассказал ему все, что знал, и даже кое-что прибавил от себя. Меркулыч заложил перо за ухо и, выкуривая одну папиросу за другой, долго молчал, а потом, подняв на меня свои добрые глаза, проговорил изменившимся голосом:

— И ты, Кирша, поверил?

— Да ведь Климовна рассказывала, я своими ушами слышал...

— Так, Климовна рассказывала... Так. А если Климовна соврала, тогда как?

— А к благочинному ее зачем хотят отправлять?

— К благочинному?!. У Лапы есть отец?

— Нет.

— Так. Значит, заступиться есть кому за нее?

Я молчал, потому что был совсем поражен таким оборотом нашего разговора и даже немного обиделся, что моя новость не произвела надлежащего эффекта.

— Ты подумай-ко, голова с мозгом, — про-

должал Меркулыч наставительным тоном, — чего стоит Климовне распустить про Лапу худую славу? Ничего... Девка совсем беззащитная, и говори, что хочешь. Так я говорю? Вот у тебя две сестры, отец жив, вот и хорошо все, а умри он — та же Климовна и сплетет такую штуку, что хоть в воду. Прошка давно глаза пялит на Лапу, только все это пустяки...

Меня даже пот холодный прошиб от слов Меркулыча, и в горле стояла слеза от одной мысли, что о Наде и Верочке могли говорить что-нибудь дурное, как о Лапе; этот разговор с Меркулычем запечатлелся навсегда в моей памяти, и с этого времени я научился не верить людям ни слова, когда они говорят о ком-нибудь дурно, и мысленно дал себе слово никогда не говорить ничего дурного о других.

IV

Спустя немного времени после истории с Лапой в Таракановке случилось целое событие, которое надолго составляло предмет разговоров и заставило забыть Лапу и ее историю. Однажды просыпаюсь ранним утром и слышу страшную возню во всем доме, скакиваю с постели, одеваюсь наскоро и бегу к чайному столу. Отец с заложенными руками за спину ходил по комнате, что он делал всегда, когда был чем-нибудь взволнован; мать суетится около печи, Надя торопливо дошивает свое новое шерстяное платье, Верочка, с голыми ногами и высоко подтыканным подолом, домывает переднюю. Я сразу почувствовал, что случилось что-то необыкновенное.

— Так сколько он жалованья получает? — спрашивал отец.

— Две с половиной тысячи... — отвечала мать, подымая вспотевшее красное лицо. — Лапа прибежала давеча, просила займы сахару, так сама рассказывала...

— Ну, теперь нам, видно, у Лапы скоро

придется занимать сахар-то...

— Пока еще бог милостив, не занимали ни у кого, — обиженно отвечала мать.

— Мне утром не спалось, — заговорил отец, стараясь поправить свою неловкую шутку. — Часу этак в пятом утра, слышу — колокольчик, потом мимо нас тройка побежала и остановилась около церкви... Хотел посмотреть, кто едет, да поленился встать, думаю, к правителю кто или на земскую станцию. Ну, Кирша, к нам приехал целый доктор, — весело заговорил отец, обращаясь ко мне, — у Луковны сын приехал из Петербурга... Понимаешь? Две с половиной тысячи жалованья получает в год; мне двенадцать лет надо служить, а ему год, — понял?

Схватить шапку и стремглав броситься из комнаты — было для меня делом минуты; издали еще я заметил, что окна в избушке Луковны завешаны чем-то белым и у ворот на лавочке, покуривая коротенькую трубочку, сидит солдат, которого я сначала чуть не принял было за самого доктора. Это, как оказалось после, был денщик доктора; на дворе стоял отличный дорожный экипаж, в каких

ездили заводские управители. В дверях меня встретила сама Луковна, она выбежала босиком и, обняв меня, прошептала таинственно: «Спит». Появившаяся Лапа объявила то же самое не менее торжественно и, приподняв подол платья, показала щегольские польские сапоги, которые подарил ей брат.

— Утром сплю я и вижу сон, — шептала Луковна, утирая концом своего фартука катившиеся по лицу слезы, — вижу, что плыву по воде... везде воды, точно море, и я даже испугалась и проснулась со страху, а тут колокольчик, слышу, к нам.

— Нет, мама, это я первая услышала! — смело перебила мать Лапа, еще раз показывая мне сапоги.

— Ну... ты, пусть по-твоему, — соглашалась Луковна, — тебя разве переспоришь когда? Подбежала я к окну, вижу: повозка; я как стояла, так ноги у меня и подкосились, села на лавку, а сама слова не могу вымолвить. Лапа меня спрашивает что-то, а я и сказать ничего не могу — и обрадовалась, и испугалась, и плачу, и смеюсь: как есть дура душой. А он, мой голубчик Сережа, входит, увидел меня и

говорит: «Здравствуйте, маменька»... Одинадцать лет его, голубчика, не видала; он Лапу-то и не узнал совсем, а потом посмотрел кругом, как мы живем, на голые стены, сморщился, мой голубчик, обнял меня и ласково так говорит: «Трудно вам, маменька, жить... Погодите, маменька, бог даст, поправимся!» А сам смеется, и я смеюсь, и плачу, и говорю сама не знаю что. «Ничего, — говорю, — Сереженька, не надо нам, только ты был бы счастлив да здоров». А он смеется, потом опять сморщился: «Зачем водкой это у вас, маменька, пахнет?» А это Кинтильян где-то нахлестался вчера, от него и несет, как от бочки.

— А ведь Меркулыча-то нет у нас, — улыбаясь, объявляла Лапа. — Сереженька-то, как приехал, спать захотел, а положить его нам и некуда... Вот мама разбудила Меркулыча и попросила его на время опростать комнату; он сейчас согласился, взял одеяло, подушку и ушел в волость спать.

— Только постарел он, Сереженька-то! — печально заговорила Луковна, прикладывая руку к щеке. — Худой такой стал, и глаза мутные, заморился с дороги-то.

— А денщика-то, Кирша, видел? — спрашивала Лапа.

— Шш... он за воротами сидит, — предупредила Луковна, дергая Лапу за платье.

— Пусть сидит, ведь я не съем его, — огрызнулась Лапа.

Мы самым подробным образом осмотрели экипаж, в котором приехал доктор, и я остался от него в восторге; внутри он был обит красным сафьяном, кожаный откидной верх был украшен какими-то медными бляхами, назади был приделан железный ящик с острыми гвоздями на верхнем крае — словом, это было образцовое произведение *sui generis*, [4] и я по крайней мере десять раз влезал в него, садился на козлы и по пути обшарил все карманы, где лежали скомканные клочки бумаги, объедки сыра и колбасы. Лапа несколько раз убегала в избу и наконец вернулась оттуда, неся в подоле пару бронзовых подсвечников, головную щетку, металлическую пепельницу и еще какие-то мудреные вещицы, назначение которых мы никоим образом не могли угадать.

— Зачем ты вытащила это? — ворчала Лу-

ковна, с любовью рассматривая блестящие вещицы. — Вот Сереженька встанет, он тебе задаст... еще изломаешь, пожалуй. Этакie подсвечники, поди, рубля три пара стоят, а ты их таскаешь зря.

— Нет, они восемь рублей стоят, мама, — отвечала Лапа. — Я спрашивала солдата, он мне все рассказал.

— Маменька, маменька... где вы? — слышался из комнаты голос доктора. Лапа со страху выпустила из рук подол платья, и блестящие вещицы покатались по земле.

На крыльце показался небольшого роста белокурый господин, одетый в летний китель с армейскими пуговицами и офицерскими погонами; прищурив глаза от солнца, он внимательно посмотрел в нашу сторону, улыбнулся и проговорил приятным тенором:

— Здравствуйте, маменька...

— Ах, Сереженька, голубчик... — тяжело дыша и переваливаясь на ходу, бормотала Луковна. — Вы уж встали... Может, это мы вам помешали спать?..

— Нет, маменька, я выспался отлично, только какой-то страшный запах у вас в ком-

нате.

— От луку, Сереженька, от луку... Уж извините меня, лук вчера варили, так луком и во-
няет.

Доктор улыбнулся, поправил шелковистые белокурые усы и трижды поцеловался с матерью; я и Лапа чувствовали себя в это время очень скверно: я потому, что сидел на козлах чужой повозки; Лапа потому, что попала на месте преступления и теперь не знала, что ей делать — идти здороваться с братом или поднимать раскатившиеся по двору подсвечники. Лапа кончила тем, что стремительно убежала в огород и спряталась за баню; доктор сильно поморщился от такой выходки и, указав глазами на валявшиеся по двору подсвечники, с упреком в голосе проговорил:

— Какая она у вас дикая, маменька.

— Она и людей-то не видела, Сереженька, вот и боится вас, — нерешительно защищала Лапу Луковна, заглядывая в глаза сыну.

Денщик, вытянувшись в струнку, стоял в воротах и совершенно безучастно, немигающим взглядом смотрел на происходившую перед ним сцену; доктор строго обратился к

нему:

— Иван, подбери подсвечники, вычисти их и поставь на место.

— Слушаю-с, ваше благородие! — певучей фистулой протянул Иван, сделал налево кругом и направился солдатским шагом в мою сторону.

— Какая-то гитара висит на стене, папиросы, окурки, — с легким раздражением в голосе заговорил доктор, закладывая руки в карманы темно-зеленых, с красной прошвой штанов.

— Это жилец у меня, Сереженька, это его гитара.

— А главное, маменька, этот ужасный запах!..

— Это тоже от жильца, Сереженька.

— Ах, маменька, маменька, ведь это очень неловко! Вот сестра совсем большая девушка, и рядом молодые люди.

— Сереженька, как же нам жить-то было?! — со слезами в голосе проговорила Луковна — Ведь с голоду приходилось умирать...

— Маменька, извините меня! — обняв мать, проговорил доктор. — Я не хотел вас

обижать, мы это устроим помаленьку. Успокойтесь, маменька... Иван, приготовь мне умыться.

— Слушаю-с, ваше благородие! — прежней фистулой протянул солдат и боком шмыгнул в двери, куда за ним прошли Луковна и доктор.

Небольшое бледное лицо доктора с выпуклым громадным лбом и красивыми серыми глазами нравилось всем, а также его небольшая стройная фигура и маленькие белые руки; но мне он не понравился с первого раза отсутствием той простоты, которую дети так любят. Возвращаясь домой, я думал больше о докторском экипаже и дорогих подсвечниках, чем о самом докторе. Дома меня засыпали вопросами о докторе, его денщике, Луковые, но я рассказывал больше о докторской повозке, так что на меня рукой махнули и оставили в покое; в наших двух комнатках было все прибрано, отец надел новый подрясник, мать и сестры были в новых платьях — словом, все приняло праздничную обстановку, и я понял, что все это делалось в ожидании докторского визита. Особенно хороша была Надя в своем

розовом барежевом платье и с канареечного цвета бантиком на шее; глаза у нее светились лихорадочным блеском, на полных щеках играл румянец, и я невольно засмотрелся на нее, точно это была совсем другая Надя, а не та, которая в стареньком, полинялом ситцевом платье вечно сидела за пальцами; я только после понял, какое значение имело это барежевое платье в это утро и о чем думала мать, когда с чувством невольной гордости в сотый раз осматривала Надю, как художник смотрит на свое лучшее произведение. Верочка была одета проще и громко роптала, что ей нельзя идти в новом платье в хлев; отец тоже был заражен томительным чувством общего ожидания и нетерпеливо ходил по гостиной, время от времени поглядывая в окно, не идет ли доктор.

Трудно описать то волнение, которое овладело нами, когда в конце площади показался наконец доктор в летнем кителе и с легкой тросточкой в руках: мать чуть не плакала, потому что на платье Нади отлетела где-то пуговица и никак не могли отыскать булавку; даже отец счел долгом что-то ошипывать на

своим подряснике, с растерянным видом гладил себя одной рукой по громадному животу и несколько раз расчесывал волосы гуттаперчевой гребенкой, которую всегда носил с собой в кармане. Пока доктор шел до нашего дома, на рынке и у волости собралась целая толпа, которая с любопытством дикарей смотрела на доктора и вслух делала некоторые замечания, относившиеся главным образом к форме доктора, производившей решительный фурор; впереди всех стоял Рукин и громко переговаривался с Прошкой и Меркулычем, физиономии которых виднелись в окне волости.

— На меня смотрят, как на дикого зверя, — с улыбкой говорил доктор, здороваясь со всеми.

— Совсем дикий народ, Сергей Павлович, — отвечал отец, крепко пожимая руку доктора.

Дорогого гостя провели, конечно, в гостиную, самовар давно кипел, и Надя подавала чай, краснея до ушей; отец оживился, шутил, смеялся, гость держал себя свободно, но с большой выдержкой. Я лежал на печи, которая для меня заменяла и обсерваторию и ка-

бинет, и внимательно вслушивался в разговор петербургского гостя, который во всем соглашался с отцом и постоянно говорил: «Да, да!» Появилась закуска и вино; доктор выпил полрюмки хересу, похвалил вино и особенно обратил внимание на закуску, причем необыкновенно кстати сказал несколько комплиментов матери, которая совсем растерялась и даже покраснела, как институтка. В три часа был подан обед; гость рассказывал о Петербурге, несколько раз обращался с вопросами к Наде, стараясь поддержать с ней разговор, но сестра конфузилась и отвечала невпопад; отец после нескольких рюмок совсем разошелся и подробно раскрыл свою душу относительно поведения Амфилохия Лядвиева и горячо изложил свои планы, надежды и огорчения. Доктор делал внимательное лицо и постоянно повторял: «Да, да! Скажите?.. Это возмутительно!.. Да, да!» Мать давно заметила, что отец надоедает гостю, и едва могла остановить его; обед вообще прошел самым оживленным образом, и, когда гость ушел, все, кроме бедной Нади, чувствовали себя самым счастливым образом.

— Столичная штука! — глубокомысленно соображал отец. — Умен, бестия... И все соглашается; у этих петербургских у всех такое обыкновение: во всем соглашаются с тобой и всего наобещают. Нашто Амфилошка пес псом, а как съездил с владыкой в Питер, тоже всем давай обещать: мягко стелют, да жестко спать. Подлец!

— Только Сергей Павлович здоровьем, кажется, слабоват, — заметила мать, чтобы замять разговор об Амфилошке.

— Какое здоровье: пальцем перешибить можно...

— И рост маловат, как будто.

— Да, недостает чуточку. Вот на меня бы мундир, Паша, надеть да эполеты прицепить... хе-хе!.. Я бы задал перцу Амфилошке несчастному!..

— А я думаю про Аполлошу, — задумчиво говорила мать, — если бы на него такой белый мундир надеть.

— В гвардию! Прямо в гвардию, — решил отец, подергивая плечами, точно на них чувствовал присутствие жирных эполет. — Будет хорошо учиться, и он может доктором быть.

Мать только вздохнула и сделала печальное лицо, а я лежал на печи и дал себе клятву, что непременно буду доктором, буду носить такой же белый мундир, как Сергей Павлович, а главное — у меня будет свой денщик, свой экипаж, подсвечники, подарю Наде отличные сапоги, так же заеду к знакомому священнику в гости, а за мной будут так же ухаживать, угощать меня, а я буду рассказывать о Петербурге и покручивать усы. «Вот, мол, вам и смотрите на меня, каков я человек есть, Кир Викентьевич Обонполов! Да-с»...

— А где у нас Кирша? — спросил отец.

— В своей канцелярии лежит, — улыбаясь отвечала мать.

— Хочешь быть доктором, Кирша? — спрашивал отец.

— Да, — отвечал будущий доктор.

— И отлично, мы с тобой, парень, тогда Амфилошку Лядвиева со всей консисторией в один узел завяжем. Верно?

— Верно. Я тебе, папа, подарю тройку лошадей тогда.

— О-го, спасибо, братец.

Понятное дело, что приезд доктора был

для Таракановки настоящим событием и надолго сделался предметом разговоров, а доктор между тем жил себе в избушке Луковны, ни с кем не знакомился и не бывал нигде, кроме нашего дома, что очень польстило всем нам! Когда по утрам доктор уходил купаться или гулять, я, пользуясь его отсутствием, проникал в избушку Луковны и с жадным вниманием осматривал все, что было в ней нового, — мягкие ковры, походную железную кровать, несколько книг, разложенных на лавке в величайшем порядке, а главное, письменный стол, на котором была целая коллекция самых заманчивых штучек; как будущий доктор, я очень внимательно присматривался к этой обстановке, хотя и не мог преодолеть чувства невольного страха при виде большого ящика с хирургическими инструментами. Избушка Луковны была теперь неузнаваема: стены были оклеены голубыми обоями, на полу настланы ковры, поставлен диван, стулья и круглый десертный стол; на стенах было навешено несколько олеографий, в комнате Меркулыча стояли дорожный умывальный прибор, дорожный чайный по-

гребец и шкатулка с столовым серебром. На окнах появились коричневые занавески и белые шторы, двор был выметен, даже поправлен покосившийся забор в огороде. У Луковны и Лапы появился целый ряд дорогих подарков, которые они тащили прежде всего показать к нам, возбуждая наше общее удивление, восторг и зависть. Странное дело, раньше я никогда не испытывал этого чувства, потому что хорошо было только то, что было в нашем доме; а тут вдруг появились подсвечники в восемь рублей пара, столовые ложки в полтора рубля дюжина, золотые часы в двести рублей, бархатные ковры в пятьдесят рублей, денщик, почтительно покашливавший в передней; словом, мои глаза открылись, и я понял истинные причины нашей фамильной гордости и от всей души возненавидел художественные заплатки и все остальные проявления вопиющей бедности, в когтях которой так крепко сидела наша семья.

Все вещи, которые привез доктор с собой, мы знали наперечет, и в нашем доме происходили длиннейшие разговоры о сравнительном достоинстве какой-нибудь серебряной са-

харницы и дорожного томпакового самовара; мать принимала особенно горячо к своему сердцу все, что привез с собой доктор, так что отец даже рассердился на нее и каким-то обиженным тоном проговорил:

— Ну, пошли в чужом рте зубы считать... Разве это хорошо? Если есть что — и слава богу, на две с половиной тысячи можно завести, а вот если бы Сергей Павлович без этих денег завел все это, тогда бы другое дело. Дай мне две-то тыщи, так и я всего накуплю.

Отец мало обращал внимания на докторские вещи, он даже как будто был недоволен ими и все говорил о двух тысячах жалованья, которые положительно не давали ему спать; мать, наоборот, совсем увлеклась одними вещами и ни о чем другом больше и говорить не могла. Бедная мать, она теряла свой здравый смысл под блеском докторского серебра, и мне положительно делалось ее жаль, особенно раз, когда Лапа в пылу увлечения совсем расхвасталась и начала подробно описывать те вещи, которые остались у брата в Петербурге и которых она не видела; совсем позабывшись, Лапа начинала рассказывать, как

они поедут все в Петербург и как будут жить там.

— Нас тогда не забудьте, Олимпиада Павловна, — ядовито заметила мать, задетая за живое этим хвастовством. — Только я так думаю, что в Петербурге много людей, даст бог Сергей Павлыч женится на богатой невесте, пожалуй, и не уживетесь с богатой-то снохой.

Лапа только улыбалась, глубоко уверенная, что для них с матерью наступил теперь золотой век и что с этой позиции сбить их не в силах никакая богатая сноха; но ей вскоре пришлось жестоко раскаяться в своей излишней доверчивости. Луковна отлично знала жизнь и людей и не обманывала себя розовыми надеждами, по-прежнему оставаясь скромной и почтительной; доктор купил ей материи на несколько платьев и строго следил за ней, чтобы она не смела ходить в старых тряпках. Последнее обстоятельство и радовало и вместе смущало Луковну; ей до смерти хотелось спрятать все покупки в ящик на черный день, в который она продолжала верить по старой привычке; меня удивляла эта скромность Луковны, и я с детской

откровенностью высказывал ей занимавшие меня мысли.

— Ой, голубчик, голубчик, мало еще ты на белом свете жил, — покачивая головой, говорила Луковна. — Сереженька сегодня здесь, а завтра нет его, я и осталась опять в своей избушке. Так-то, Кирша.

Мы были уверены, что Луковна по крайней мере сейчас же откажется от должности просвирни, а когда мой отец намекнул ей об этом, она обиделась и горько заплакала, так что отцу стоило больших трудов успокоить ее.

— Зачем я буду, отец Викентий, чужой хлеб есть, когда еще свои руки работают, — говорила Луковна, утирая глаза кончиком белого носового платка, который она была обязана теперь иметь постоянно при себе, чтобы не обходиться с своим носом посредством пальцев, как это она раньше делала.

— Вот умная старуха! — говорил отец после ухода Луковны. — Ее, брат, не проведешь... Свои, говорит, руки работают. Молодец!

Я исправно посещал Луковну и делал свои

наблюдения, которые ставили меня в некоторое недоумение относительно доктора. Он даже смутил меня своим странным поведением. Утром он вставал часов в восемь, и боже сохрани, если что-нибудь будило его раньше времени: он вставал темнее ночи, бледный, с мутными глазами и придирался ко всему и ко всем; денщик Иван первый входил в комнату проснувшегося барина подать ему сапоги, умыться, чистое белье. Луковна стояла в это время в сенях и со страхом ожидала появления Ивана; если он шептал: «Благополучно!», — Луковна крестилась и переводила дух, а если Иван ничего не отвечал, значит, дело было плохо. Бедной Лапе доставалось больше всех в эти дурные дни, и доктор просто не давал ей проходу: не так вошла, не вовремя улыбнулась, говорит, когда не спрашивают, размахивает руками — словом, доктор находил в сестре тысячи недостатков, над которыми смеялся самым беспощадным образом, так что бедная Лапа через неделю совсем возненавидела своего брата и ворчала себе под нос:

— Уж скоро ли унесет от нас этого ворчуна... Подарил на платье да ботинки, так дума-

ет, и можно из меня жилы тянуть, как из каторжной. Да я лучше пойду полы мыть, чем слушать его... Все неладно! А где я возьму ладно, если меня не учили ничему!

— Лапа... Дура ты, дура набитая! — с укоризной останавливала Луковна дочь. — Разве так можно говорить про брата? Разве он худа желает, брат-от?

— Да что, мама, далась я вам такая несчастная, что всякой меня может день-деньской бранить... Ведь он, как пила, пилит меня! Ведь я не деревянная...

— А ты говоришь, дура, одни глупые слова; а того не подумаешь, что Сереженька болен... Краше в гроб кладут! Вон ему подашь кусочек какой, он обнюхивает его, попробует, сморщится и оставит: «Нет, маменька, я что-то не хочу сегодня есть»... Легко ему, моему голубчику? Ты вон зеленого луку как-то наелась да вошла в комнату, так он только ручками замахал и глазки закрыл...

— А я чем виновата? Не нравится — ударь меня, а не пили целый день... Ведь я тоже человек, а не бревно.

— Нет, ты бревно бесчувственное! — с

азартом уверяла Луковна. — В тебе нет жалости, ты наелась — сыта, и трава не расти... Как есть не понимаешь ничего!

— Куда уж нам, деревенщине, с образованными людьми знаться... Я вон похудела как. Право, хоть в воду сейчас.

— А это знаешь? — внушительно говорила Луковна, показывая Лапе кулак. — Кто ты есть за человек? Грязь, пыль и больше ничего.

Как ни защищала Луковна сына и как ни была терпелива, но и она несколько раз всплакнула втихомолку, потому что ей иногда приходилось невтерпеж. Доктор был чистоплотен, как кошка, и одевался по целым часам; бедный Иван по десяти раз подавал ему одну и ту же вещь, уносил ее чистить и снова приносил, пока доктор не оставался ей доволен. Если пуговица была пришита некрепко, на сорочке сидело малейшее пятнышко, где-нибудь давило или жало, — доктор выходил из себя и впадал в состояние полного малодушия. Раз Лапа починила ему военный галстук из черного атласа, который доктор носил под жилетом; доктор с четверть

часа примерял этот галстук перед зеркалом, а потом вошел в комнату, где жил Кинтильян и где мы теперь сидели, и без всякого звука, молча подал галстук Лапе, указывая рукой на какую-то черную ниточку, которая торчала из обрубленного края галстука. Я взглянул на доктора и даже испугался: его красивое, умное лицо было в эту минуту просто страшно, и на нем было написано такое внутреннее страдание, точно он приговорен был к смерти. Эта несчастная ниточка испортила доктору целый день, и он ходил из угла в угол все время темнее ночи, нервно покручивая усы и постоянно закладывая и вынимая из карманов свои белые руки. В другой раз на знаменитых бронзовых подсвечниках оказалось небольшое зеленое пятно от капнувшего старина, которое Иван не досмотрел и не уничтожил вовремя. Доктор молча указал рукой денщику на это пятно и опять посмотрел кругом таким убийственным мутным взглядом, от которого Иван, заложив руки за спину, даже попятился.

Я от слова до слова слышал любопытную сцену, которая происходила вслед за обнару-

жением пятна; доктор с полчаса ходил по комнате, а когда Иван поставил на прежнее место вычищенный подсвечник, он остановил его в дверях.

— Иван...

— Чего изволите, ваше благородие? — отозвался денщик, вытягиваясь в струнку у порога.

— Ты всем доволен, Иван?

— Очень доволен, ваше благородие!

— У тебя все есть, Иван?

— Все-с, ваше благородие!

— Может быть, у тебя денег недостает, Иван?

— Деньги есть, ваше благородие-с!

Доктор молча ходил по комнате; потом, остановившись, заговорил глухим, совсем упавшим голосом:

— Если ты доволен, Иван, зачем же ты сделал меня больным на целый день?

— Слушаю-с, ваше благородие...

— Дурак!.. Ведь ты знаешь, что я не выношу беспорядка в моих вещах... Да? Знаешь? Я люблю, чтобы у меня всякая вещь на своем месте лежала... Все было чисто, опрятно, при-

брано, а тебе лень вычистить подсвечник.

— Я, ваше благ...

— Молчи, болван! И еще оправдывается, каналья?! — в каком-то отчаянии, заломив свои белые руки, заговорил доктор. — Виноват кругом, каналья, и оправдывается!

— Виноват, ваше благородие!

— Ты не понимаешь, как все это действует на меня: я не выношу беспорядок... Я для тебя все готов сделать, а ты... Третьего дня прихожу, — пепельница передвинута, чернильница открыта... Ты, Иван, кажется решил уморить меня.

— Слуш...

— Убирайся вон, дурак!..

После таких сцен доктор приходил в комнату Луковны, садился на стул и начинал ей жаловаться с какой-то детской наивностью:

— Вот, маменька, какие люди бывают!.. Да, маменька.

— Зачем же вы, Сереженька, так огорчаете себя, — утешала Луковна: — Позвольте я буду убирать вашу комнату, может быть, я сумею лучше сделать...

— Ах, маменька, маменька... Где же вам?!..

Вы не знаете, а Иван все знает: он не хочет, маменька. Он назло все делает мне, маменька...

В Таракановке, как в самом глухом медвежьем углу, не было места тайнам; поэтому скоро по всему заводу стали говорить о странностях доктора самые невероятные рассказы и даже делали предположения, что он немного «тово», «тронулся умом». До Луковны, конечно, доходили эти слухи через десятки рук, но она отмалчивалась и только покачивала головой; ее беспокоило больше всего то обстоятельство, что ее Сереженька никогда не молится; раз она решилась заговорить с сыном об этом щекотливом обстоятельстве.

— Смотрю я, Сереженька, что вы как будто не молитесь...

Обыкновенно Луковна очень осторожно относилась к сыну и даже побаивалась его, но когда речь зашла о его душе, сна держала себя даже строго.

— Некогда, маменька, — уклончиво отвечал доктор, улыбаясь своей загадочной улыбкой.

— Вот вы, Сереженька, говорите: «неко-

гда», а я так думаю: вам некогда, вот у вас нездоровье и привязалось... Помолились бы вы хорошенько, на душе спокойнее, выпались хорошенько — вот и здоровье. Я шестой десяток доживаю, а бог хранит, не помню, чтобы когда хворать... Оборони, владычица! Вот будет воскресенье, Сереженька, как бы это даже отлично было, если бы вы в церковь сходили... а? Помните, как маленьким были, тогда любили в церковь-то ходить, ни одной заутрени не пропускали и все, бывало, на клирос.

— И теперь, маменька, я с удовольствием встал бы на клирос, да вот все некогда... Право, маменька, совсем некогда.

Как доктор ни упирался и как ни было ему некогда, Луковна настояла на своем, и он в ближайшее воскресенье отправился в церковь во всем блеске своего армейского мундира и жирных эполет; густая толпа народу почтительно расступилась перед ним, он встал у самого амвона и, не пошевелившись, простоял, как вкопанный, целую обедню. После обедни ему поднесли просфору, которая заметно смутила его; мы с Меркулычем стояли

на клиросе и лезли из кожи, чтобы показать свое искусство; но легко себе представить наше удивление, когда Сереженька выразился о нас таким образом: «что это, маменька, за козлы у вас на клиросе поют?» Как истинный артист, я не мог простить доктору этого оскорбления; Меркулыч был тоже возмущен до глубины души таким отзывом и не без достоинства проговорил:

— Уж важничает очень... Идет к вам как-то по улице, а я смеюсь Прошке: «Точно с молоком идет, боится рукой шевельнуть».

Несмотря на это недоразумение, доктор был удостоен посещением Меркулыча, Рукина и Января Якимыча.

Меркулыч совершал свой туалет с особенным тщанием; Рукин одет был в длиннополый кафтан, а Январь Якимыч в темно-зеленый сюртук с узенькими рукавами и с широко отложенным воротником. Пуголки на височках были подвиты самым тщательным образом.

— Уж вы предоставьте все мне, господа... все. Я уж знаю, как с ним вести дело, — хитро подмигивая одним глазом, объяснял Январь

Якимыч: — Рыбак рыбака видит издалека... Я бы не пошел, пожалуй, да, знаете, как-то неловко. Подумает еще, кошки его залягай, что мы столичных порядков не понимаем. Не-ет, Сергей Павлыч, и мы кое-что видали. Ты, Меркулыч, пожалуйста, не крякай, это не принято в хорошем обществе, а ты, Емельян Иваныч, имеешь привычку сморкаться при помощи одних перстов, — это, батенька, уж совсем неприлично! Хе-хе!.. Относительно разговору вы уж надейтесь на меня, как на каменную стену... Мы и сами не левой ногой сморкаемся, кошки его залягай. Да-с.

После довольно продолжительного совещания депутация торжественно двинулась из волости к избушке Луковны: впереди шел Январь Якимыч, как-то особенно семеня ножками, за ним в молчании следовали Меркулыч и Рукин. Сергей Павлович был дома и сделал самое недовольное лицо, когда денщик доложил ему о желании каких-то людей непременно видеть его.

— Скажи им, что меня нет дома, — объявил Сергей Павлович.

— Сереженька, голубчик, зачем вы так де-

лаете... — вступилась Луковна: — ведь они хотят честь вам оказать.

Доктор несколько минут не решался, а потом велел деньщику впустить депутацию, проговорив: «Уж только для вас, маменька»...

Когда депутация показалась в дверях, мы с Лапой заняли наблюдательный пост в окне. Январь Якимыч не без ловкости расшаркался и проговорил:

— Граждане Таракановского завода имеют честь поздравить вас с приездом, Сергей Павлович...

Меркулыч и Рукин поклонились безмолвно.

— Очень рад, очень рад, господа... Садитесь, пожалуйста, — торопливо заговорил доктор, с изысканной любезностью подавая Январю Якимычу стул: — Я вас помню, Январь Якимыч.

— Конечно, мы маленькие люди... очень маленькие, — в прежнем торжественном тоне продолжал Январь Якимыч: — а ведь мы чувствуем. Да-с. Некоторым образом вы, Сергей Павлыч, составляете нашу гордость. А позвольте узнать-с, — совсем другим тоном

заговорил старик: — вы в каком заведении изволили довершить свое образование?

— В Медицинской академии.

— В Петербурге-с?

— Да.

— Отличный городок-с... Я так полагаю, что теперь там этакие разные чудеса понастроены: висячие мосты, пирамиды-с...

Январь Якимыч держал себя молодцом и все время не слезал с высокого тона, которым хотел запустить пыли в глаза; доктор был необыкновенно внимателен к своим гостям и старался занять их, но Меркулыч и Рукин упорно отмалчивались и только мычали и кланялись, когда доктор обращался к ним. Рукин долго смотрел на Сергея Павлыча умиленными глазками и, наконец, проговорил:

— А ведь я вас вот эконьким помню (Рукин показал от полу с пол-аршина), когда еще, можно сказать, вы без штанов по улице бежали... Гм!..

Этот визит продолжался около часу. Доктор был вежлив, внимателен, постоянно улыбался и постоянно повторял: «да, да... да». Январь Якимыч разошелся совсем и на проща-

ние таинственно сообщил доктору:

— Когда вы поедете отсюда, Сергей Павлыч, может быть, дорогой... могут на вас сделать нападение злоумышленники. Я вам дам маленький совет: как только злоумышленники приблизятся к вашему экипажу, вы выньте табакерку (Январь Якимыч достал из кармана серебряную табакерку, открыл ее и захватил двумя пальцами щепоть табаку) и вот таким образом прямо в глаза-с... табаком-с. Самое верное средство-с! Лучше всякого револьвера.

— Благодарю вас, только я совсем не нюхаю и, к сожалению, не могу воспользоваться вашим советом, — отвечал доктор.

— Жаль, очень жаль. Я в бумажку отсыплю вам табачку, Сергей Павлыч, а вы им в глаза, кошки их залягай!

— Нет, благодарю вас.

— Не желаете? Так я вашему камердинеру передам...

Этот знаменитый «визит к доктору» надедал много шуму в Таракановке, главным его героем был, конечно, Январь Якимыч, который доказал всем, что и «мы не левой ногой

сморкаемся». Обратной стороной этого визита был неожиданный отъезд доктора. Случилось это таким образом. Кинтильян с приходом доктора был скрыт Луковной в бане и по причине сильнейшего винного запаха, которого доктор не переносил, совсем не являлся на глаза братцу; визит Января Якимыча, Меркулыча и Рукина задел Кинтильяна за живое, и поэтому в одно прекрасное утро, когда Луковна совсем забыла о своем блудном сыне, он появился в дверях комнаты Сергея Павлыча и молча вытянулся во весь свой богатырский рост у косяка. Для храбрости Кинтильян «дернул пенного» и посмотрел на доктора осовелыми, глупыми глазами. Луковны не было, денщик Иван был куда-то послан. Сергей Павлыч со страхом посмотрел на безмолвно стоявшего верзилу и проговорил:

— Вам... вам кого нужно?

Кинтильян слегка покачнулся, посмотрел на доктора мутными глазами и, сделав два шага вперед, проговорил:

— Здравствуйте, братец...

В этот критический момент в дверях показалась Луковна. Доктор, показывая пальцем

на Кинтильяна, глухо проговорил:

— Маменька, он убьет меня...

Луковна в шею выпроводила Кинтильяна, но доктор так был встревожен посещением братца, что никак не мог успокоиться целый день, не спал всю ночь, а наутро денщик Иван уложил вещи доктора в экипаж, и доктор уехал. Луковна долго стояла за воротами, провожая глазами удалявшуюся повозку и утирая концом передника слезившиеся глаза; она была убита и огорчена до последней степени, но не за себя лично, а за своего ненаглядного Сереженьку, которого «не грело красное солнышко и не кормил хлеб-батюшко». О себе, о своем личном счастье старуха не думала и теперь, как не думала об этом целую жизнь.

Луковна и Лапа остались в своей избушке, и обе вздохнули свободнее, точно гора с плеч свалилась. Доктор при отъезде говорил, что отслужит свой срок военным врачом, поступит куда-нибудь на службу в город и тогда возьмет к себе мать и сестру; Луковне он оставил сколько-то денег и дал слово высылать ежемесячно небольшую сумму. На другой же

день после отъезда доктора Кинтильян и Меркулыч заняли свои каморки, и колесо нашей жизни тихо завертелось своим обычным ходом; вечером опять мы собирались за самоваром в избушке Луковны и подолгу толковали о разных разностях.

— Хотел я Сергею Павлычу одно местечко показать, где утят хоть руками бери, — говорил Меркулыч, попыхивая папирской и сильно встряхивая своими напوماженными волосами. — Отличное место!

— Уж какие ему утят! — махнув рукой, говорила Луковна. — Ему жареного-то утенка не поймать на тарелке.

— Отчего он такой сделался? — спрашивал Меркулыч.

— От ученья, батюшка, все от ученья, — отвечала совершенно чистосердечно Луковна: — я как-то насмелилась и спросила его об этом, а он мне и говорит: «Трудно, маменька, учиться было...» — Что же, говорю, учителя, говорю, строгие были? — «А вот, говорит, маменька, бывало так: принесут покойника, учитель придет, возьмет нож и давай его пластать, а ты стоишь и смотришь. А как, гово-

рит, учитель-то рассердится, маменька, да ножом?» Вот от страху сердце-то, видно, издрожалось, он теперь и скудается здоровьем... Вышел как-то на полянку утром, прилег на травку, где маленьким еще валялся, погрелся на солнышке, а потом печально таково говорит: «Нет, маменька, видно, и солнце уж не греет меня...» Он ведь всегда так мудрено говорит, что не скоро его поймешь: такой уж мудреный вышел.

Этот «мудреный» доктор несколько поохладил мои мечты непременно быть доктором, а рассказ Луковны об учителе с ножом поверг меня даже в уныние, пока отец не убедил меня, что все это пустяки и что Сергей Павлыч просто пошутил над матерью. Вообще доктор не оправдал тех ожиданий, какими мы все жили в первую минуту его приезда; розовое барежевое платье Нади опять было спрятано в ящик, значит, была не судьба исполнить ему предназначенную роль.

После отъезда доктора курсы Луковны сильно поднялись, потому что, как-никак, а все-таки она теперь была «докторова мать», и все отлично помнили жирные эполеты доктора, его денщика и его экипаж; даже на Лапу перепала малая часть лучей докторского имени: все-таки и она была «докторова сестра», что в нашей захолустной иерархии имело большое значение. Сама Луковна осталась прежней Луковной, нимало не гордилась своим новым званием и по-прежнему работала без устали; я немало удивлялся такой скромности с ее стороны и не раз высказывал ей, что она теперь достигла полного и безмятежного счастья, которое ничто не в состоянии разрушить.

— Ах, Кирша, Кирша, какой ты глупый человек! — добродушно говорила мне Луковна: — как знать вперед: сегодня я докторская мать, буду зазнаваться, а завтра Сереженька умрет, тогда что?.. Нет, голубчик, он сам по себе, а я сама по себе: всяк сверчок знай свой шесток.

Меркулыч сильно изменился, сделался задумчив и рассеян; приходя к нему, я часто заставал его в таинственных беседах с Лапой, конечно, когда Луковны не было дома. Странное поведение Меркулыча скоро объяснилось: однажды Луковна явилась к нам и о чем-то очень долго и очень тихо разговаривала в гостиной сначала с отцом, а потом с матерью; когда она ушла, отец проговорил:

— Что же, — устрой, господи, на пользу; только нужно прежде посоветоваться с Сергеем Павлычем, что он скажет на это.

— По-моему, и писать не о чем, — отвечала мать: — разве так написать, для формы... Чего тут разбирать, дело самое подходящее, а для Лапы такого жениха днем с огнем поискать. Меркулыч человек обстоятельный; жалованье маловато, конечно, да Лапе-то жить не с жалованьем, а с человеком.

— Все-таки надо написать Сергею Павлычу и посоветоваться с ним, а то, пожалуй, еще обидится. Я напишу ему.

Отец долго сочинял письмо петербургскому доктору, несколько раз переписывал его, поправлял, читал матери и Луковне, наконец,

оно было отослано в Петербург вместе с фотографией Меркулыча, и настал длинный срок самого мучительного ожидания, а Меркулыч и Лапа числились как жених и невеста, искали уединенных разговоров, перекидывались таинственными улыбками, и взглядами, и полусловами, как это прилично жениху и невесте.

О той жизни, какую мы вели с Меркулычем раньше, конечно, не могло быть и речи; я отлично понимал, что Лапа отняла у меня Меркулыча, но отнесся к этому довольно равнодушно и даже холодно, потому что нужно было серьезно готовиться к поступлению в духовное училище и целые дни напролет зубрить латинские и греческие спряжения; мысль быть доктором произвела во мне решительный перелом, и я твердыми шагами шел к своей заветной цели и настолько увлекался своим будущим, что даже не обратил надлежащего внимания на такие выдающиеся факты, как получение разрешительного письма доктора на свадьбу Лапы и затем на самую церемонию этого торжественного события, в котором я принимал участие в каче-

стве шафера со стороны невесты. Как сквозь сон, помню целый ряд церемоний, которые происходили теперь в избушке Луковны: рубитье, обручение, девичники — все это для меня казалось скучной церемонией; зато мои сестры жили самой лихорадочной жизнью, работая вместе с другими девушками-подругами в избушке Луковны над приданным невесты. Полосы холста, штуки ситца, полотно, какие-то цветные материи, дешевые ленты, кружева, песни с утра до ночи — все это мешалось в моей голове самым странным образом с латинскими спряжениями, катехизисом Филарета и тому подобными хитростями-мудростями бурсацкой науки, которая ожидала меня. Самая выдающаяся роль на этой свадьбе выпала на долю добрейшего Января Якимыча, он целые дни хлопотал без устали, суетился, бегал и всем страшно мешал. Расходившийся старичок помогал даже кроить, шил вместе с подругами невесты и тоненьким дребезжащим голоском пел с ними песни. В день свадьбы после «венца» Январь Якимыч, поздравляя молодых, выпил несколько рюмок лиссабонского и по непривычке к вину сразу

захмелел, что послужило началом целому ряду презабавных сцен: он пел петухом, показывал, как пьет воду курица, и каким-то бабьим голосом выкрикивал: «Слава тебе, господи!.. Слава тебе, господи!.. Устрой, господи, на пользу... Родимые мои! Олимпиада Павловна... Иван Меркулыч... Слава тебе, господи!..»

Итак, Меркулыч женился и зажил с молодой женой в небольшом домике, который купил на последние гроши, какие были скоплены им в течение десяти лет; а Луковна осталась в своей избушке одна и ни за что не соглашалась жить у зятя, как последний ни упрашивал ее об этом. Это странное упорство старухи сильно удивило всех, в том числе и меня, и все решили, что Луковна думает переехать к сыну в Петербург, но сама она ни слова не говорила об этих намерениях и продолжала вести в своей избушке прежний образ жизни, изредка навещая дочь.

— Настоящая медведица, не хочет расставаться с своей берлогой, — шутил иногда отец.

— Мне немного надо, — говорила Луковна: — корочку хлеба — вот и сыта, а в своем

углу все-таки спокойнее.

Наступило лето, брат Аполлон приехал на каникулы, и я стал заниматься под его руководством, потому что отец прихварывал и ему трудно было следить за моими занятиями. Эти каникулы были для нас очень тревожным временем. Аполлон кончил духовное училище и осенью должен был поступать в семинарию, где ему нужно было сдать вступительный экзамен.

Он сильно вырос и возмужал и старался держать себя совсем как большой, особенно с барышнями, говорил с ними загадками, старался смешить их и постоянно улыбался самодовольной улыбкой, немилосердно пощипывая верхнюю губу, на которой выступал черный пушок — гордость и слабость Аполлона. Мы иногда ходили к Меркулычу, но я находил эти посещения скучными, а Аполлон выбирал «такое время, когда самого Меркулыча не было дома, и до слез смешил Лапу самыми смешными анекдотами. Мать хотя и косилась на такое поведение своего любимца, но молчала до поры, до времени, потому что видела в этом только развлечение для моло-

дого человека. Наконец наступил конец июля, роковой экзамен был на носу, и Аполлоша храбро отправился в губернский город, где была духовная семинария. Я остался дома до половины августа, мне торопиться было некуда.

Две недели неизвестности, которые мы пережили во время экзаменов Аполлона, показались мне вечностью, и в нашем доме царило самое тяжелое уныние, борьба между страхом и надеждой. Погода стояла дождливая, и в длинные темные вечера происходили бесконечные разговоры, догадки и предположения, предметом которых был Аполлон. Как теперь помню этот несчастный августовский вечер, когда мы сидели всей семьей за чаем; дождь лил, как из ведра, порывистый ветер дергал ставни и дико завывал в трубе. Мать была особенно задумчива и грустна, Надя и Верочка сидели смирно, не смея шевельнуться, отец ходил по комнате, заложив руки в карманы казинетового подрясника; в это время слышался шум подъехавшей телеги и легкий стук в окно. Мы переглянулись, мать побледнела и выронила из рук чайную лож-

ку, которая неприятно зазвенела о чайное блюдечко.

— Видно, с требой? — нерешительно проговорила мать; я видел, как ее рука дрожала на скатерти.

Отец молча подошел к окну, отворил форточку и как-то бессильно опустился на стул, точно у него подкосились ноги; я никогда не забуду выражения его лица, полного муки, гнева и отчаяния.

— Боже мой, боже... — тихо проговорил отец, хватаясь за голову.

Через минуту в комнату входил Аполлоша с своим чемоданчиком, весь мокрый, бледный, но с таким решительным выражением на лице, что я сразу не понял всей трагичности наступившего момента.

— Аполлоша, Апол... — крикнула мать и бросилась на шею к стоявшему с чемоданчиком в руке Аполлону.

— Обзатылили... — шептал отец, а потом так дико захохотал и с такой силой ударил кулаком по столу, что я отшатнулся от него. — Обзатылили... О, подлецы! — застонал отец, хватаясь за голову.

— Викентий Афанасьич... — тихо заговорила мать, переходя к отцу. — Викентий Афанасьич...

— Паша... Паша... — бессвязно бормотал отец, не удерживая больше слез, которые ручьем катились по его лицу, усам и бороде.

— Успокойся, Викентий Афанасьич...

— Пашенька... ведь это устроил *тот!* — с искаженным лицом закричал отец, порываясь из рук матери. — Это Амфилошкиных рук дело... Это он, он, он!..

Матери стоило больших усилий успокоить убитого отца; сестры плакали, брат по-прежнему стоял с чемоданом в руках и щипал верхнюю губу, я смотрел на всех с открытым ртом, и у меня только теперь сжалось детское сердце за всю эту немую сцену, свидетелем которой я был.

С отцом сделался истерический припадок — он то дико хохотал, то плакал; едва к утру нам удалось привести его домашними средствами в более спокойное состояние, и он, наконец, заснул тяжелым, тревожным сном; мы все не спали целую ночь. Аполлон сидел безмолвно в углу, облокотившись на

стол и положив голову на руки, точно теперь это была для него совсем лишняя вещь, которая мешала ему; мать тихо плакала, сидя рядом с ним, я лежал в своей «канцелярии» и слушал, как о чем-то тихо шептались сестры, а потом Надя подошла к матери и проговорила:

— Перестань, мама... Ты плачешь... точно Аполлон умер. Ведь живут же другие люди, — не всем кончать курс в семинарии и быть священниками.

Мать была поражена этими словами, она совсем не ожидала этого от сестры, которой руководил теперь тот женский инстинкт, благодаря которому женщина всегда скорее найдет, что нужно делать в критических обстоятельствах, чем мужчина.

Я со страхом ожидал следующего дня, но он оказался легче, чем я думал. Рано утром брат ушел куда-то и вернулся вместе с Меркулычем, присутствие которого теперь очень обрадовало меня. Бывают такие положения, когда оставаться с глазу на глаз в своей семье делается невыносимым, и в эти тяжелые минуты присутствие постороннего человека

снимает половину тяжести, хотя этот посторонний человек ничем не может помочь вам и слова его утешения вы слушаете иногда из простой вежливости, а между тем, совершенно незаметно, именно это бесполезное слово участия воскрешает вас. Так было и теперь, и, как я узнал после, брата послала к Меркулычу та же простенькая Надя, догадавшаяся раньше других, чем помочь горю и как успокоить отца, когда он проснется.

Итак, Меркулыч явился к нам и, сидя на лавке, осторожно покашливал в руку, в гостиной слышались тяжелые шаги, глубокие вздохи и кашель, наконец, в дверях появился отец, постаревший за ночь на несколько лет.

— А, это ты пришел... — совершенно равнодушно проговорил отец, точно он был уверен найти Меркулыча здесь.

— Да-с, пришел проведать вас, отец Викентий...

— Да, братец, обзатылили отца Викентия, совсем обзатылили!

— Зачем-с, отец Викентий... Это вы даже совершенно напрасно-с... Ей-богу, так-с.

В затруднительных случаях Меркулыч

имел привычку прибавлять к каждому слову «с» и постоянно утирал лицо платком, как-то забавно отдувая свои розовые щеки. Один вид этого свежего, довольного человека подействовал хорошо на отца; он взял его под руку и увел в гостиную.

— Так ты говоришь, что напрасно? — спрашивал он Меркулыча то самое слово, которому он не верил.

— Совершенно даже напрасно-с, отец Викентий, — покашливая, отвечал Меркулыч: — Сгоряча оно точно иногда горячку порешь, а потом одумаешься... Вы рассудите так: вот вы сами отличный аттестат имеете, кончили курс в семинарии, а какое ваше положение?..

— А-ах, Меркулыч, Меркулыч! — застонал отец. — Ведь меня кто придавил: Амфилошка Лядвиев... Да!..

— Амфилошка Амфилошкой-с, отец Викентий, а и сами вы не правы, — вкрадчиво заговорил Меркулыч, раскуривая папиросу и усаживаясь на кончик стула, причем он бережно загнул фалды своего казинетового пиджака. — Да, вы сами не правы.

— Я? Не прав?!.

— Да-с, — по-прежнему кротко отвечал Меркулыч, пуская с необыкновенным искусством колечко синего дыма. — Сделаемте такое рассуждение, отец Викентий: вам встал поперек дороги консисторский секретарь Лядвиев и не дает ходу, а вы бы собрались как-нибудь, да рыбки ему пудик послали, шишек кедровых, чайку фунтик...

— Да я ему, подлецу...

— Позвольте, отец Викентий, — мягко остановил отца Меркулыч. — Я хочу сказать, что вы не хотите покориться под Лядвиева и оказать себя подлецом... Так-с?

Отец понял, к чему клонились подходы Меркулыча, посмотрел на него и, улыбнувшись, проговорил:

— А ведь ты умным человеком оказываешь себя... Извини, брат, не ожидал... Ты, значит, только по виду-то прост кажешься?

— Уж как мать родила-с, отец Викентий, — нисколько не обидевшись грубоватой откровенностью отца, отвечал с улыбкой Меркулыч. — Без хитрости по нынешним временам даже совсем невозможно-с: курица, и та норовит заклевать тебя. А я, собственно, к то-

му веду речь, что вы напрасно изволите так сокрушаться об Аполлоне Викентьи́че: может, у них судьба такая. А я, грешный человек, иногда смотрю на вас, и вчуже мне жаль вас делается: человек вы образованный, с головой человек-с, и вдруг Лядвиев вас заключает в Таракановку... Вот я маленький человек, а я счастливее вас, потому я вольная птица: не захочу служить, буду торговать, и никто мне ее указ. И выходит, что при моей глупости мне не в пример легче вашего жить. Теперь возьмем Аполлона Викентьи́ча: образование они для себя получили достаточное, поступят на завод, а лет через пять-шесть, глядишь, будут получать жалованья вдвое больше нашего. Человек он аккуратный, можно сказать, вполне самонадеянный, начальство увидит ихние труды, вот вам и отлично всем будет. Притом вот теперь Кира Викентьи́ча тоже нужно в науку посылать, деньги нужны-с, а на двоих-то у вас, пожалуй, и не достало бы: и лета ваши не такие и здоровье слабое. А теперь что-с? Аполлон Викентьи́ч поведут себя в лучшем виде-с и не только свою голову будут пропитывать, а и вам помогать

станут за ваши заботы о них. Вот и выйдет так, что и вам будет лучше-с, и Кир Викентьич будут происходить свою науку-с... Да-с! Вы уж извините меня, отец Викентий, а я вам даже откровенно скажу-с, что нынче быть молодому человеку священником даже не в моде-с...

— Ну, это, брат, положим, что ты и врешь, а все-таки не ожидал... Нет, не ожидал в тебе такой прыти! Ты молодец... В самом деле: черт с ними со всеми!.. Наплевать!..

— Совершенно верно-с. Ведь шесть лет нужно было тянуть лямку-то и на вашей шее при этом...

— Веррно!..

— Оно сначала и мне это обидно показалось, а потом обсудил я это самое дело: не стоит-с!..

— Не стоит шкура выделки?

— Так точно-с.

Мать слышала весь этот разговор и с веселым лицом вошла в комнату.

— А я ведь то же самое думала, Викентий Афанасьич, — проговорила она: — разве уж только и свету в окне, чтобы в священники

поступить...

Мы все собрались в гостиной, явился самовар, и в комнате раздался веселый говор и самый беззаботный смех: туча прокатилась; Аполлон рассказывал о своей поездке, о псковской семинарии, профессорах и экзаменах. Отец смеялся вместе с другими и рассказывал о том, как сам учился в семинарии. Повторяя вечную историю об Амфилошке Лядвиеве, отец говорил уже в шутливом тоне:

— Подлец он, Амфилошка... А ведь вместе двенадцать лет учились... на одной парте сидели! А вот теперь придавил меня ногой, и basta... Думает: задушу, а может, бог-то и не оставит меня именно за его, Амфилошкину, неправду... Так?

— Злохудожественный человек, отец Викентий, — прибавил Меркулыч, поправляя розовый галстучек на шее.

VI

В августе месяце я расстался с Таракановкой и поступил в четвертый (последний по прежним порядкам) класс уездною духовного училища, находившегося в заштатном уездном городишке Гавриловске, при знаменитом Гавриловском монастыре. От Таракановки до Гавриловска было больше двухсот верст, и до губернского города Прикамска от Таракановки считали четырехста верст; притом жизнь в Гавриловске была вдвое дешевле, чем в «губернии», поэтому отец и отправил меня туда. Первое, что мне бросилось в глаза еще дорогой, это то, что по мере приближения к Гавриловску местность все понижалась, делалась ровнее, вечнозеленый дремучий хвойный лес сменился лиственными породами с их бледной зеленью, к которой совсем не привык мой глаз, и, наконец, потянулись волнистые оголенные равнины Зауралья, в центре которого стоял Гавриловск с своим монастырем. Этот город был просто деревня с несколькими церквями, и я сразу возненавидел его и в первый раз горько заплакал о своей милой Тара-

кановке, потерявшейся в широком просторе Уральских гор. Все то, что раньше не имело для меня никакого значения, чего я даже не замечал, теперь тянуло меня с непостижимой силой к себе; особенно сильно тосковал я об уральских лесах, по которым бродил с Меркулычем; даже заводская фабрика с ее сажей, пылью, вечным грохотом казалась мне каким-то раем в сравнении с этими бесконечными полями, на которых глаз не находил ни одной высокой точки и которые шахматной доской зеленых озимей и только что сжатых полей уходили в бесконечную даль.

Самое училище помещалось в монастыре, за его толстыми стенами, видевшими башкирские бунты и пугачевщину. Прежде всего я явился к архимандриту Иринарху, настоятелю монастыря и смотрителю духовного училища; это был высокого роста, еще очень молодой и в высшей степени красивый монах с длинными, белыми, как молоко, руками и с полужакрытыми ленивыми глазами. Он принял меня с такой важностью, что у меня похолодело на душе от предчувствия чего-то недоброго; на экзамене я отвечал бойко, но

Иринарху больше всего не понравилась моя заводская развязность в сравнении с деревенскими поповичами, которые только потели со страху и дрожали, как в лихорадке.

— Как только приедешь в Гавриловск, сходи непременно к отцу Марку, — говорил мне отец на прощание: — Он славный парень был... На квартиру вставай к Ивану Андреичу, где Аполлон жил. Славный старик, хоть, не тем будь помянут, крепко нас дирал прежде.

Памятуя наставления отца, я отыскал в Гавриловске небольшой домишко Ивана Андреича. Это был совсем маленький домик, походивший на крестьянскую избу, с передней и задней половиной. В передней половине Иван Андреич держал кого-нибудь из учеников духовного училища, а в задней жил сам с своей женой Аришей. Иван Андреич выслужил сорок лет учителем уездного духовного училища и теперь жил на покое, получая двенадцать рублей пенсии в месяц. На вид это был крепкий старик с какой-то деревянной физиономией и щетинистой бородой. Одевался он зимой и летом в полосатый тиковый ха-

лат и в таком виде ходил по всему Гавриловску. Грубоватый на вид, Иван Андреич был собственно добрейшей души человек, и ему нужно было пройти сквозь огонь и медные трубы бурсацкой жизни, чтобы прославиться на целую губернию самой жестокой поркой. Ариша была как раз по плечу Ивану Андреичу: низенькая старушка со сморщенным лицом, не вылезавшая из ветхого ситцевого платья, любившая поворчать и воображавшая себя очень проницательной; главным ее достоинством было умение кормить своих постояльцев.

У Ивана Андреича был сын Антон, который жил в передней половине вместе с хлебниками. Это был очень веселый и очень взбалмошный парень, который с первого же раза отнесся ко мне самым враждебным образом. Кроме Антона и меня, в передней половине поместился еще сын о. Марка, которого все звали Гришкой. Это был уж совсем отчаянный человек, обладавший притом здоровенными кулаками. Гришка и Антон встретили меня, как новичка, глухим ворчанием и к вечеру же отколотили наижесточайшим об-

разом. Таким образом, я был посвящен в тайны бурсацкой науки. Первую ночь, которую я провел под кровлею домика Ивана Андреича, я проплакал напролет; бессильная злоба душила меня, но вместе с тем я сознавал, что я теперь отрезанный ломоть, как говорил отец, и должен был испить чашу до дна. Далекая Таракановка встала передо мной в самых радужных красках, и я, задыхаясь от слез, до самого утра думал о ней, о матери, сестрах, Луковне, Меркулыче, Январе Якимыче.

Приемный экзамен я выдержал порядочно и поступил в высшее отделение, то есть в последний класс, где, к моему несчастью, мне пришлось учиться вместе с Антоном и Гришкой. Впрочем, я скоро освоился с ними и даже до известной степени привык к побоям: ощущения физической боли притуплялись, а чувство собственного достоинства я почти совсем утратил. Как это случилось, я не могу дать себе отчета в настоящее время, помню только, что я сначала потерялся, потом ушел в себя и, наконец, глубоко возненавидел бурсу и Гавриловск. О способе учения считаю излишним говорить подробно, потому что он

совершался самым ветхозаветным образом, и все дело в конце концов сводилось только на одно голое зубрение, мертвившее детский ум и парализовавшее всякое проявление самостоятельности молодой мысли.

Отец Марк жил в большом селе Заплетае-ве, до которого было от Гавриловска верст десять, вниз по реке Ирени. В будни мне некогда было сходить туда, а в праздник я боялся встретить там Гришку с Антоном. Свободное время, которое у меня выдавалось в праздники, я посвящал уединенным прогулкам за город, особенно по течению Ирени, где было несколько отличных рыбных мест. У меня было несколько удочек, с которыми я забирался рано утром куда-нибудь подальше; там проводил целый день, предаваясь этим воспоминаниям, и подолгу лежал на траве с закрытыми глазами, вызывая в своей памяти дорогие мне лица, места и события. Я еще раз переживал здесь все то, что осталось в Таракановке.

Однажды — это было в начале августа — день выдался такой теплый да светлый, точно вернулось опять лето. Я забрался под иву с раннего утра. Рыба брала плохо, и я мог меч-

тать, сколько душе угодно, без ущерба делу. Накануне я получил письмо от отца, и хотя в нем ничего нового не было, я находился в особенно мечтательном настроении и совсем не заметил, как один из поплавков начал тревожно нырять.

— Тащите... клюет! — крикнул за моей спиной чей-то голос, и, прежде чем я успел оглянуться, маленькая белая ручка схватила одну из моих удочек и торопливо выдернула из воды пустую лесу.

— Ах, какая жалость!.. — сердито проговорил тот же голос. — Как вам не совестно так зевать?..

Я оглянулся и сильно смутился. Пред мной стояла красивая девочка лет четырнадцати в белом пикейном платье и сердито смотрела на меня красивыми карими глазами.

Как во сне мелькнули пред мной гладко зачесанные светло-русые волосы, ярко-алая лента на белой шейке, маленькие белые руки с розовыми пальчиками и очень красивое, теперь нахмуренное личико с вздернутым носиком. Я совсем растерялся и молчал. Девочка

сердито топнула ножкой и, отдувая розовые пухлые щеки, капризно проговорила:

— Что же вы молчите, как пень? Я, кажется, с вами говорю... А как отлично клевала!

Девочка громко засмеялась. Доктор Обонполов еще больше смутился.

— Вероятно, из духовного училища? — спросила она. Я подтвердил это предположение. — А как ваша фамилия?

Я назвал себя.

— Так это вы и есть Кир Обонполов... — растягивая слова, проговорила девочка. — Отчего вы к нам не приходили?.. Пойдемте. Меня зовут Симочкой. Папа будет очень рад. А что ваш брат?

Не помню, что я отвечал на этот вопрос; об удочках я забыл и приготовился покорно следовать за незнакомкой, не спросив даже, куда она меня ведет.

— А удочки? — спрашивала моя незнакомка, когда мы сделали несколько шагов. — Как это глупо!..

Пока я вынимал удочки и сматывал лесу, к нам подошла большая барышня, одетая в изящное летнее платье из сурового полотна.

— Агничка, посмотри, какую я находку сделала, — весело говорила Симочка, кивая в мою сторону головой. — Имею честь представить: братец Аполлона, Кир Обонполов.

Агничка лениво посмотрела на меня, потом перевела свой взгляд на сестру и улыбнулась. Мне показалось, что она думала: «Хороша находка... какая ты глупая, Симочка! Ну, что мы будем делать с этим болваном?»

— Пойдемте, — проговорила Симочка, точно отвечая на мою мысль. — Мы скоро будем обедать... Ух, как я устала!..

Мы пошли по направлению к Заплетаевскому селу, которое виднелось верстах в четырех. Всю дорогу Симочка щебетала, как птичка, немилосердно тормошила меня и заливалась неудержимым, заразительным смехом, заставлявшим улыбаться меня, вероятно, самым глупым образом. Агничка жаловалась на усталость и несколько раз многозначительно проговорила:

— Он совсем не походит на брата... ничего похожего нет!

Меня осенило какое-то просветление, и я понял смысл этой фразы, то есть что Агничка

находила меня просто безобразным сравнительно с братом Аполлоном. Эта мысль произвела на меня гнетущее впечатление. Моему самолюбию был нанесен жестокий удар, потому что как я ни преклонялся пред совершенствами Аполлона, но в настоящую минуту я почувствовал мучительное желание быть красивым, ловким, любезным, по крайней мере, кавалером вроде Меркулыча. Ах, зачем у меня не было хоть частички достоинств моего друга! Я испытывал глубокое чувство унижения и страстно желал вернуться обратно в Гавриловск, чтобы выплакать свое горе где-нибудь в углу; но о бегстве нечего было и думать, — оставалось идти вперед. Все, что я пережил на пути от моей ивы до Заплетаева, можно сравнить разве только с тем, что чувствует утопающий человек.

Заплетаевское село было больше Гавриловска. Оно раскинуло свои крепкие домики тоже по берегу р. Ирени и весело глянуло на нас своей каменной белой церковью и широкой улицей. Недалеко от церкви стоял пятистенный деревянный дом в один этаж с красивым мезонином и широким двором. Это и

был домик о. Марка, куда мы шли, как я догадался.

— А вот и папа! — звонко крикнула Симочка, указывая головой на сухонького низенького старичка, который сидел на крылечке и стругал какую-то палочку. Он был одет в старый, разорванный подрясник, из больших прорех которого вылезли клочья грязной ваты. На голове была надета донельзя затасканная меховая шапка, на шее намотан пестрый гарусовый шарф. — Папа, отгадай, кого мы привели к тебе? — кричала Симочка, подбегая к старику.

Старик повернул ко мне свое острое, изрытое оспой лицо, зорко оглядел меня с ног до головы своими бойкими карими глазами, сделал какую-то гримасу и с веселой улыбкой отвечал:

— Где вы такого зверя откопали?

Когда старик улыбнулся и заговорил, в его некрасивом лице мелькнуло то же добродушно-лукавое выражение, которое не сходило с личика Симочки, и я догадался, что это и есть тот знаменитый о. Марк, о котором отец всегда спрашивал Аполлона и которому мы все

завидовали.

— Что, не узнаешь меня, паренек? — весело заговорил о. Марк, бойко соскакивая с своего места. — А ведь мы с твоим-то отцом вместе учились... вместе. На одной парте двенадцать лет высидели. Понимаешь? А Иван Андреич, разбойник, бывало, вместе нас и драл... У, как драл, разбойник!

Как-то забавно привскочив на одной ножке и лукаво прищулив глаза, о. Марк продолжал:

— А ты, паренек, отведал березовой каши?.. а? Чик-чик-чик... а? Ничего, после спасибо скажешь... А Иван Андреич драл... у, как драл, разбойник! Бывало, разложит нас с отцом-то твоим и прогнусит: «А закатить Филемону и Бавкиде пятьдесят горячих»... Ух!.. Небо с овчинку! А я Ивану Андреичу и шепну: «Иван Андреич, гуська привезу...» Сейчас смилуется. «Ты у меня добрый парень, садись на место!» Вот как жили, паренек, а вы что — время даром проводите!..

Агничка ушла в комнату, а Симочка стояла и смеялась. Я покраснел, как рак, и окончательно растерялся, а о. Марк так и заливался

своим дребезжавшим безобидным смехом.

— Ну, соловья баснями не кормят, Серафима Марковна, — заговорил о. Марк, — ты у Ивана Андреича стоишь, паренек? Ну, значит, досыта не наедаешься и с голоду не умираешь... Так, так! Знаешь поговорку: держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле... *Satur venter non studet libenter.*[5] Ты с моим блудным сыном, значит, живешь... Колотит он тебя, разбойник?.. Он и меня скоро будет колотить... Да, да!.. Ты от него подальше, коли хочешь добра!

Пятистенный домик о. Марка был устроен внутри на славу, так что у меня даже глаза разбежались: мягкая мебель, дорогие обои, ковры, бронза и даже вазы. Особенно хороша была небольшая голубая гостиная с мебелью, обтянутой голубой шелковой материей, С голубыми драпировками на дверях и окнах, с голубыми обоями и небольшой бронзовой люстрой, спускавшейся с потолка. Зато кабинет о. Марка отличался большой простотой: в одном углу стоял трехногий стол с какими-то бумагами, в другом столярный верстак, два простых стула, и только. Я почувствовал

невольную робость в этих богатых комнатах и сразу понял всю разницу между ними и нашими убогими комнатками в Таракановке. Здесь же я понял источник нашей фамильной гордости, которая должна была вознаградить нас за те блага, каких нам не доставало. Я пришел даже в некоторый священный ужас, прикинув в уме, сколько могла стоять вся эта обстановка в доме о. Марка, особенно если сравнить с теми героическими усилиями, каких стоили нам наши жалкие вещи. Да, будущий доктор не умом, а всеми своими чувствами в первый раз испытал щемящее чувство зависти и подавляющую силу богатства.

— А ты, Кирша, умеешь бревна возить? — спрашивала меня Симочка, которая с двух слов поставила себя со мной на короткую ногу.

Я сознался в своем невежестве. Симочка подвела меня к небольшому столу из «мороженого» железа под малахит, наклонила голову и провела белым лбом по полированному железу. Получился дребезжащий звук, действительно походивший на то, как будто по улице ехали с бревном. Симочка несколь-

ко раз повторила эту штуку, а потом заставила проделать ее меня. Будущий доктор на этот раз вышел из затруднения самым блистательным образом: стол под моим лбом затрепал неистово, и Симочка с восторгом принялась громко аплодировать моим успехам. Эти похвалы настолько разожгли мое усердие, что на лбу у меня всплыла большая красная шишка, но это вышло еще забавнее, так что я совсем позабыл о своем желании провалиться сквозь землю или, по меньшей мере, удрать обратно в Гавриловск.

Нужно ли говорить, что мы отобедали самым веселым образом, весело играли долго после обеда — вообще провели целый день самым отличным образом благодаря удивительной изобретательности Симочки и еще более удивительной готовности Кира Обонполова исполнять все ее желания и капризы. Дело кончилось тем, что будущий доктор с ловкостью медвежонка очутился, наконец, на крыше и даже был согласен прыгнуть прямо с высоты нескольких сажен, чтобы только заставить Симочку смеяться ее серебристым смехом. Совершенно излишне упоминать о

том, что когда Кир Обонполов возвращался в Гавриловск, — в его идеалах оказалось значительное приращение, именно, что он не только будет доктором, а еще должен жениться на Симочке.

Да, это была настоящая первая любовь «с окрыляющим жаром молитвы и с целомудренными восторгами», любовь, которая приносила много явных и тайных огорчений, мук и терзаний, выкупаемых светлыми полосоми тайного счастья, — любовь, которая, как весна в году, не повторяется. Я очень часто бывал в Заплетаеве и проводил время отличным образом; но на горизонте моего счастья стояло уже черное облако — это архимандрит гавриловского монастыря и смотритель нашего училища Иринарх, который тоже очень часто навешал о. Марка и с которым Кир Обонполов, по некоторым обстоятельствам, меньше всего желал встречаться где бы то ни было, — сказать проще, будущий доктор боялся Иринарха, как огня. Впрочем, Иринарх посвящал свой досуги исключительно одной Агничке. О. Марк хлопотал по хозяйству и, по видимому, совсем не обращал внимания на

эти таинственные tete-a-tete, происходившие у него под носом. Раз, дурачась с Симочкой, я с разбегу влетел в комнату Агнички, и мне показалось, что она сидела на коленях у архимандрита и при моем появлении быстро отскочила. Мне, конечно, показалось все это, и я никогда не поверил бы в возможность такого случая между Агничкой и Иринархом. Эти таинственные уединения давали нам с Симочкой полнейшую свободу, чем мы и пользовались. Симочка была отличная девочка и держала себя со мной как товарищ. Чем дальше подвигалось время, тем сильнее любил я ее и страшно скучал, когда дня три мне не приходилось бывать в Заплетаеве. Симочка отвечала мне тем же и не раз приезжала за мной на квартиру к Ивану Андреичу на маленькой серой лошадке, которой всегда правила сама. Когда выпал снег, мы на этой лошадке устраивали отличные пикники.

Мне казалось, что Иринарх глубоко ненавидел меня и не упускал случая сделать мне что-нибудь «неудобосказуемое». На монастырском дворе, в двух шагах от училища, стоял знаменитый «каменный мешок», то

есть длинный каменный флигель, имевший форму мешка, в котором проживал «смиренный Иринарх», как официально подписывал свое имя наш смотритель. Снаружи трудно было представить что-нибудь безобразнее этого каменного мешка: штукатурка на стенах облезла, кирпичи выкрашивались, железная крыша во многих местах проржавела, маленькие окна с железными решетками смотрели неприветливо, как в тюрьме, и само здание походило на каменный гроб. Но какой резкий контраст находил каждый, кто имел счастье проникать вовнутрь этого склепа! Ряд щегольских, уютных комнат открывал восхитительный вид в тенистый садик, примыкавший к флигелю сзади; в этих комнатках стояла вечная весна из всевозможных растений, которые были собраны в них со всех концов света. Картины, фотографии, письменный стол, украшенный тысячью дорогих безделушек, библиотека — все это делало келью монаха самым уютным каменным гнездышком, в котором все дышало роскошью и изяществом. Летом это был настоящий райский уголок, отгороженный от остальной юдоли пла-

ча высокой и толстой монастырской стеной; небольшая терраса выходила в сад и вся тонула с ранней весны в чудесах экзотической зелени, и Иринарх любил нежиться на этой террасе, покачиваясь в вольтеровском кресле с последней книжкой какого-нибудь журнала. Небольшой квадратный садик, устроенный в углу монастырской ограды, представлял из себя чудный, затянутый зеленью уголок, но я не могу вспомнить о нем без невольного трепета... Я имел несчастье попасть в хор певчих, и поэтому мне очень часто приходилось бывать в покоях владыки Иринарха, который был большой знаток и любитель пения; бывало, призовет нас, певчих, и держит часов шесть. Сам Иринарх владел отличным бархатным тенором и любил подпевать нам; певчие были его фаворитами и любимцами, но его любовь была страшнее ненависти, и каждая улыбка заставляла нас дрожать. Иринарх баловал нас, закармливал сладостями, и все-таки мы боялись его, как огня, потому что чем тише и ласковее становился его взгляд, чем чаще начинал он улыбаться, тем тяжелее была его рука, — и пока он сладко дремал на

своей террасе, полузакрыв глаза, в садике раздавались оглушительные вопли наказываемых розгами. Мы, певчие, должны были стоять вдали, у стенки террасы и терпеливо дожидались, когда владыка своим бархатным тенором протянет: «довольно». Кто побывал в бархатных лапках Иринарха, тот на всю жизнь не забудет звуков этого бархатного голоса, этих лениво полузакрытых глаз и выразительного бледного лица с матовой кожей.

Если бывают вообще загадочные натуры, то такой загадочной натурой был Иринарх: мучить других для него составляло утонченнейшее наслаждение, и ему нужны были детские слезы, мольбы и вопли, чтобы он мог спокойно дремать в своем кресле; что-то злое, свеще светилось в этих серых с поволокой глазах, когда они останавливались на вас своим долгим магнетизирующим взглядом, потрясавшим всю нервную систему. Иринарх действовал не столько на тело, сколько на душу, создавая целую пытку для нервов; некоторые падали в обморок от одного его взгляда. А между тем это был очень образованный человек, поступление которого в монахи окруже-

но было самой глубокой таинственностью; кроме того, глубоко художественная натура Иринарха сказывалась во всем и даже в том высокохудожественном зле, которое он сеял кругом себя. Жить он умел, как никто другой, и пока монастырская братия сидела на кислой капусте и горошнице, Иринарх имел самую изысканнейшую кухню и попивал двадцатипятирублевый рейнвейн. Слава об Иринархе гремела по всей губернии, и в гавриловский монастырь из-за сотен верст стекались благочестивые души, жаждавшие слушания «медовой службы» Иринарха и уединенных бесед с этим пастырем словесного стада в его игрушках-комнатах. Рассказывали, что богомольные красивые барыни приезжали за тысячи верст, чтобы посмотреть красавца-владыку и удостоиться поднести ему какой-нибудь ценный подарок на память. Иринарх очень благосклонно относился к этим «взыскующим града», и слава его росла вместе с рассказами о его тысячных рысках, дорогих обедах и тонких винах.

Я не буду входить в подробности той тяжелой жизни, какая выпала на мою долю за мо-

настырской стеной; по приведенному типу Иринарха можно сделать приблизительное о ней понятие; но когда наступили первые летние каникулы в моей жизни, я обезумел от радости. Все, что было во мне напускного и взятого напрокат, — все это, как чешуя, отпало само собой, уступив место могучему чувству беспредельной любви к родине. Правда, мне очень тяжело было расставаться с Симочкой, но я сейчас же утешился, как отъехал от Гавриловска верст двадцать. Я равнодушно тащился между колосившихся нив и богатых деревень на крестьянской телеге вместе с другими товарищами и смотрел туда, на север, где волнистой линией в синеватой дымке горизонта вставали и все сильнее выяснялись силуэты Уральских гор: там Тараканова, там отец и мать, сестры и брат... Как я обниму их всех!.. А Луковна? Меркулыч? Что-то они делают все и как встретят меня?.. Опять жить в лесу, на охоте и на целых полтора месяца забыть об Иринархе, о дежурстве в «каменном мешке», сценах «под колоколом», где по субботам драли учеников, о Гришке и Антоне, лупивших меня на все корки.

Что прежде всего и самым приятным образом поразило меня, так это то, что я сразу почувствовал, что в нашем доме как будто не стало прежней вопиющей бедности, — лучше ели и лучше одевались. Дело объяснилось очень просто тем, что Аполлон поступил на службу, и хотя получал всего пятнадцать рублей жалованья, но все эти деньги отдавал отцу. Эти сто восемьдесят лишних рублей в год были для нашей семьи якорем спасения, тем более что мое учение обходилось в год в сорок пять рублей, — цифра совсем невероятная в нынешнее время, а она имела значение действительности десять-пятнадцать лет тому назад.

Меня опечалило лишь одно обстоятельство, именно то, что Луковны не было в Таракановке; она уехала в Петербург проводить Сергея Павлыча, который сильно прихварывал весной или, как объясняли другие, хотел жениться и для этого выписал свою «маменьку». В избушке жил теперь один неукротимый Кинтильян, и я совсем не заглядывал в эту пещеру рыкающего льва; зато мы с братом каждый день бывали у Меркулыча. Лапа

теперь называлась Олимпиадой Павловной, она пополнила и сделалась рыхлой; спала даже на ходу и просыпалась только тогда, когда считала нужным обругать Меркулыча. Этот примерный муж выносил с примерным терпением от своей супруги все и только лукаво подмигивал, потому что Лапа, то есть Олимпиада Павловна, находилась в таком положении, которое требовало присутствия и самого деятельного участия Климовны, этой сплетницы-старушонки, распустившей о Лапе пред приездом доктора свои сплетни. Меня удивляло терпение Меркулыча, который позволял этой старушонке появляться в его доме.

В июле поспели всякие выводы, и мы с Меркулычем начали свой охотничий сезон. Олимпиада Павловна не только не удерживала Меркулыча, но сама гнала его и постоянно смеялась над Аполлоном, который, ссылаясь на ревматизм, совсем не ходил на охоту и оставался дома. Я отдавался этому удовольствию с полной страстью и был недоволен поведением Меркулыча, который относился к делу уже не с прежним самоотвержением, а, как кажется, с единственной целью поболь-

ше набить дичи; этот промышленный дух, который сменил прежнее поэтическое удовольствие, огорчал и даже оскорблял меня. Затем не было и помину о том, чтобы провести ночь где-нибудь в глухом лесу, как это мы делали прежде: Меркулыч рвался на свое пепелище и морщил лоб, когда мы запаздывали, — словом, это был другой человек, и я не скучал с ним только потому, что больше не с кем было ходить на охоту, а время бежало с поразительной быстротой, приближая роковую минуту отъезда в Гавриловск под высокое покровительство Иринарха.

Раз, в конце июля, подхожу ранним утром к домику Меркулыча, и только занес было руку, чтобы постучать в окно, и вперед отлично представлял себе, как в окне покажется заспанная физиономия моего друга с взъерошенными волосами, — руки сами опустились, и я простоял под окном несколько минут в совершенном оцепенении, точно по мне кто-нибудь выстрелил: новенькие ворота домика Меркулыча были вымазаны широкими полосами дегтя... В переводе это означало самую ужасную вещь, какая только существу-

ет в провинциальной жизни: вымазанные дегтем ворота — это вечный позор дома и несмываемое пятно на его репутации. Я долго не мог прийти в себя, а когда в окне показался Меркулыч, я ничего не мог выговорить, а только показал знаками, чтобы он сейчас же вышел на улицу. Когда Меркулыч появился в калитке, я молча указал ему на ворота. Бедный мой друг побледнел и слабо вскрикнул.

— Кирша, что это... Господи... — бессвязно бормотал растерявшийся Меркулыч, выпуская из рук полы своего халата.

Отворить ворота, снять вымазанные половинки с петель и убрать их на задний двор — было делом одной минуты; в следующую затем минуту Меркулыч в щепы разрубил эти несчастные половинки, и мы молча спрятали их в конюшне. Об охоте в этот день нечего было и думать, великолепное утро пропало, и я вернулся домой с «растрепанными чувствами»; пред моими глазами стоял убитый Меркулыч, который со слезами на глазах побелевшими губами шептал: «За что? Господи... Кому я сделал зло?» Лежа в постели, я долго думал, кто бы мог устроить такую

штуку Меркулычу, и решил, что это дело Прошки. Несмотря на свое огорчение, я заснул самым крепким сном, а когда проснулся, было уже часов одиннадцать утра, и в передней сидела с своим таинственным видом Климовна — значит, как я догадался, весть о скандале успела уже облететь всю Таракановку, и наши усилия скрыть всякие следы остались тщетными. Мать была, видимо, огорчена и старалась не смотреть на меня, сестры шептались, отца и Аполлона не было дома.

— Жаль... как жаль! — шептала поблекшими губами Климовна. — Она-то последнее время ходит, пожалуй, чего бы не попритчилось... А сам-то сел в угол и сидит, как очумелый; из волости присылали за ним, не пошел.

Отец скоро вернулся, он был у Меркулыча, и только махнул рукой, когда мать вопросительно посмотрела на него.

— Ни за грош зарезали парня, — говорил он, когда Климовна вышла: — Меркулыч ни на кого не думает. Встретил сейчас Прошку на улице, улыбается, животное; так бы по толстой морде его и смазал...

— Викентий Афанасьич?!

— Ах, матушка, что за церемонии! Если бы не сан мой да не старость, — засучил бы рукава и собственными руками... Понимаешь? Было время, когда лошадь за передние ноги поднимал... Да, был конь, да уезжен!

Эта история с Меркулычем наделала большого шуму; сам Меркулыч целую неделю нигде не показывался, Олимпиада Павловна заливалась слезами, как река, и несколько раз прибегала к нам в самом отчаянном виде. Дело кончилось тем, что Меркулыч жестоко запил, и все пошло вверх дном. Он походил теперь скорее на зверя, чем на человека, и несколько раз с ножом бросался на беременную жену, а когда приходил в себя, плакал и на коленях просил прощения. Отец несколько раз ходил к нему делать увещания. Меркулыч слушал его, обещал исправиться и запивал горше прежнего. Я не оставлял своего друга, но мое присутствие едва ли сколько-нибудь помогало Меркулычу: он пил рюмку за рюмкой, ломал все, что попадалось ему под руку, и по всей вероятности сошел бы совсем с ума, если бы в самую критическую минуту не явилась из Петербурга Луковна, торопившаяся к

«разрешению» дочери.

— Ну, и слава богу! — проговорил отец, когда услышал о приезде Луковны: — Луковна все устроит... Эта, брат, бывала в переделках!

Я сидел у Меркулыча, когда Луковна в первый раз заявила к зятю. Меркулыч был по обыкновению пьян и сидел у окна. Луковна тихо вошла в комнату, помолилась и, оглянувшись кругом, прямо подошла к зятю.

— Грех тебе, Меркулыч, — тихо заговорила Луковна, в упор глядя на зятя.

— У-уди!.. — глухо зарычал Меркулыч, сжимая кулаки.

— Нет, я не затем пришла...

— Уди!..

— Мне с тобой нужно поговорить...

— А... со мной?!. Ты... нет, ты вот с ней, со своей змеей поговори! — яростно закричал Меркулыч, указывая на жену. — У-у... змея подколотная!.. Луковна, не подходи: убью!.. Зарежу!..

— Вре-ешь, не убье-ешь, — как-то нараспев ответила Луковна и смело подошла к зятю: — ну, бей...

Меркулыч метнулся, как дикий зверь, и за-

стонал; он испугался старухи, не сводившей с него глаз; эта немая сцена продолжилась несколько секунд, заставила вспотеть Меркулыча, и он только страшно водил выкаченными глазами.

— А мне, ты думаешь, легко... а? Мне легко? — задыхавшимся шепотом говорила Луковна. — Я ведь не оправдываю дочь...

— Я... я... любил! — скрежеща зубами и закрыв лицо, шептал Меркулыч.

— Ты младенца пожалей... безвинного младенца: вот зачем я пришла к тебе... В нем божья душа-то, отчаянный ты человек!.. О бже-то позабыл... А ты того не думаешь, что, может, это кто со зла сделал на тебя? Мало ли добрых-то людей?..

— Да ведь мне на улицу теперь показаться нельзя... пальцами будут все указывать... вот что!.. Это как, по-твоему? Лучше бы убили меня... легче бы мне...

— А по-моему, нужно богу молиться...

Луковна продолжала говорить в этом же роде, Меркулыч слушал ее и стихал, изредка озираясь по сторонам, точно он боялся какой засады; в этой сцене Луковна являлась для

меня в новом свете, в ней сказывалась какая-то не сокрушимая ничем сила жизни и умение стать выше самых критических обстоятельств. Самый тон ее голоса, вид ее энергичной фигуры, упорный взгляд небольших черных глаз, горевших огнем, — все это, вместе взятое, производило успокаивающее впечатление, как присутствие авторитетного доктора, один вид которого внушает больному надежду. Подавленный горем ум Меркулыча отказывался работать, но чувства жили с болезненной энергией, создавая воображаемые муки — вот против этого болезненного состояния присутствие Луковны было лучшим лекарством для Меркулыча. Ввиду таких исключительных обстоятельств Луковна на время рассталась даже с своей избушкой и поселилась у зятя. Меркулыч быстро начал поправляться, бросил водку, перестал буяннить, и только по временам на него находили какие-то столбняки. По наружному виду это был совсем другой человек — о румянце не было и помину, глаза округлились и смотрели тревожным, напряженным взглядом, по лицу легкой тенью постоянно пробегало чув-

ство детского страха при малейшем стуке; о своем костюме Меркулыч больше не заботился: не поправлял галстука, не обдергивал на себе казинетового пиджака; из всех старых привычек у него остались две — нерешительное криканье и надувание щек, точно ему постоянно было жарко.

Живя у зятя, Луковна совсем не замечала дочери и не говорила с ней ни слова; Климовна больше не появлялась. Это напряженное состояние, наконец, разрешилось появлением в домике Меркулыча четвертого действующего лица, отчаянные детские крики которого разогнали остатки накатившейся тучи, и Меркулыч даже повеселел, когда к нему потянулись красные детские ручонки; его доброе, любящее сердце все свои силы сосредоточило на этом маленьком существе, и он даже начал ходить опять в волость на свою службу, о чем раньше и слышать не хотел. Олимпиада Павловна тоже подняла голову и помаленьку опять начала забирать мужа в свои руки: она даже считала необходимым усиленно кричать на Меркулыча, когда он не так брал ребенка на руки, не умел его успокоить или не

просыпался ночью, когда ребенок кричал.

— А все-таки лучше бы им уехать куда-нибудь, — несколько раз говаривал отец. — Конечно, домишко у них свой, хозяйство, а все-таки лучше уж бросить все. Народ здесь зверь зверем, а Меркулыч — рубаха-парень, пожалуй, обидят, неровен час.

— Ехать-то некуда, отец Викентий, — отвечала Луковна, — и без нас тесно везде.

— Все-таки лучше, Луковна.

— Здесь свой угол есть, отец Викентий, а поехал отсюда — нанимай квартиру. Капиталов-то не накоплено, а тут дите на руках...

— А к Сергей Павловичу толкнуться бы... Может, он где-нибудь нашел бы подходящую службу.

— Ой, что вы, отец Викентий! Разве Сереженька такой человек, с ним ведь каши не сваришь. Он с своей-то головой не пособился: все стонет да морщится. Другой раз даже смотреть тошно: потемнеет весь из себя, глазки мутные такие сделаются. «Скучно, говорит, маменька»...

Раз мы сидели с Меркулычем в волости; Меркулыч писал какую-то бесконечную «бу-

магу», а я думал о Заплетаеве и заплетаевских поповнах; в окне звенела и жужжала большая зеленая муха; я сладко мечтал — в это время в передней слышались тяжелые неровные шаги, и в волость ввалились Прошка с Вахрушкой, едва держась на ногах. Они были сильно пьяны, Прошка посмотрел на нас налитыми кровью глазами и, шатаясь, подошел к столу. Вахрушка подошел за ним и с глупой улыбкой уставил глаза на Меркулыча.

— Ты... ты что же сидишь?.. — хриплым голосом заговорил Прошка.

— Не танцевать же мне пред тобой, — огрызнулся Меркулыч: — вишь, бумагу пишу.

— А ежели... значит... я твое начальство... должен ты мне али нет, со всяким почтением... а? Вахрушка... а Вахрушка... ты какое понятие в своей голове имеешь насчет этого дела?.. А?..

— А я так полагаю в своих мыслях, — отозвался Вахрушка, поправляя кумачную рубашку: — я полагаю, что Меркулыч... он в понятии затмился...

— Отвяжитесь, черти! — зарычал Меркулыч. — Вишь, налили шары-то... Убирай-

тесь!

— Над землей-то ты не больно страшен, — загремел Вахрушка: — разе тебя под землей-то много...

— А ты, Прош, не трогай Меркулыча, — вступился Вахрушка, оттаскивая Прошку за рукав: — Меркулыч теперь, брат, подобно тому, как помещик... Меркулыч, а Меркулыч! С новорожденным...

Меркулыч страшно побледнеет и какими-то остановившимися глазами посмотрел на Вахрушку; перо задрожало в его руках.

— С новорожденным, Меркулыч... — хрипло протянул Прошка: — с наследничком... только говорят, что от него деготьком припахивает...

Меркулыч молчал и только как-то весь выпрямился на своем стуле.

— Как здоровье Олимпиады Павловны?.. Чисто ходишь, бело носишь, кого любишь, с кем живешь!.. — При этих словах Прошка засмеялся хриплым наглым смехом.

— А вот мы дегтярника этого крестить скоро будем, — со смехом заговорил Вахрушка. — Кинтильяна в крестные отцы поставим... он

окрестил тебе ворота-то!..

Вахрушка не успел закрыть рта, как Меркулыч одним движением, как дикий зверь, прыгнул из-за стола прямо на Вахрушку, сбил его с ног и с диким, нечеловеческим воем впился в него; они покатались по полу. Меркулыч первое время одолевал своего врага, но потом могучие руки Вахрушки, как клещами, сжали ему спину, и он очутился на низу. Вахрушка сел на Меркулыча верхом, кумачная рубаша была на нем вся разорвана, по лицу текла кровь, и он начал наносить страшные удары Меркулычу по лицу и в грудь, точно кто молотил его пудовыми гирями, так что слышно было, как хрустели кости под этими ударами.

— Дуй его, Лапухина мужа — мазаны ворота! — хрипел Прошка, толкая Меркулыча своим сапогом прямо в лицо. — Задувай его...

Увидев это побоище, я опрометью кинулся из волости; отец и Аполлон были, к счастью, дома, они сейчас же побежали выручать Меркулыча. Когда мы входили в волость, Прошка и Вахрушка попались нам навстречу; они шли, как ни в чем не бывало.

— Что это вы делаете, разбойники? — закричал отец.

— А тебе какое дело? — глухо отозвался Прошка.

— Мне?!. Мне?!. Вы тут человека убили, разбойники!.. — закричал отец так громко, что я задрожал от страха. — Я вас под суд отдам... в Сибирь!..

— У тебя долги волосы-то, так я тебе их расчесу, — мрачно отозвался Вахрушка.

Я силой утащил отца в волость. Меркулыч буквально плавал в крови с посинелым лицом и стиснутыми зубами; это был кусок мяса, на который было страшно смотреть. Мы кое-как привели Меркулыча в чувство, потом я сбегал за Январем Якимычем, и только при его помощи мы возвратили Меркулычу несколько человеческий вид: обмыли кровь, привели в порядок одежду и смочили страшные синяки какой-то примочкой, какую захватил с собой Январь Якимыч. Я никогда не видел таких страшных синяков, какими было покрыто все тело Меркулыча: громадные синие пузыри с багровыми подтеками всплыли на груди, на плечах, на спине; нос распух,

глаз почти было совсем не видно под синими пятнами. Меркулыч все время молчал; его тело покорно принимало всякое положение, какое ему давали, как у мертвого.

— Ах, христопродавцы... ах, разбойники! — кричал Январь Якимыч, натирая спину примочкою. — Ах, кошки их залягай...

— В Сибирь мошенников сошлю! — кричал отец.

— Совсем изуродовали человека... отец Викентий, вы по пузырю трите сильнее... вот так... левее немного! Ах, господи, помилуй... ах, христопродавцы... Аполлоша, ты голову придерживай... Отродясь не видывал этакой страсти! Да не подлецы ли, отец Викентий... не лешаки ли! Прости ты меня, господи!.. Ах, заешь их собака...

Меркулыча замертво стащили домой, и он вылежал в постели две недели; он лежал тихо, не жаловался, не стонал и ни с кем не говорил. Луковна и Олимпиада Павловна ухаживали за ним с убитыми, заплаканными лицами; я несколько раз пытался утешать своего друга, но Меркулыч молчал и только раз, прощаясь со мной, глухо проговорил:

— Ты, Кирша, напрасно утешаешь меня... я не маленький... Ты *этого* теперь не поймешь... когда больше будешь... тогда...

Когда я взялся уже за скобку двери, Меркулыч еще раз остановился и, оглядевшись кругом, тихо проговорил:

— Пойдешь в лес, Кирша... в горы... Поклонись им от меня: и лесу, и горам, и траве... Не гулять мне больше...

В первых числах августа, рано утром, когда еще все спали в нашем доме, меня разбудил чей-то тихий плач и глухое причитание; я выглянул из-за печки и увидел Луковну, которая стояла у самых дверей и тихо плакала. Отец с бледным лицом торопливо надевал на себя казинетовый подрясник и никак не мог застегнуть пуговиц, потому что руки у него сильно тряслись. Он с тяжелым вздохом несколько раз проговорил: «Ах, господи!.. Да что же это такое?» Вскочить с постели и одеться было делом минуты, а в следующую минуту я уже босиком летел по улице прямо к Меркулычу и далеко опередил отца, который при своей одышке не мог ходить скоро. Калитка в доме Меркулыча была отворена; во

дворе стояли два мужика, за ними виднелась какая-то баба с белоголовым мальчиком на руках.

— Вон там повесился, — проговорил один из мужиков, тыкая пальцем в сторону сарая.

Я опрометью бросился в двери конюшни и отскочил назад: в самых дверях висели чьи-то белые ноги. Прибежавший отец велел мужикам снять Меркулыча; они переглянулись, почесали затылок и неохотно вошли в конюшню; через минуту белые ноги мертвым движением опустились на пол. Точно вынырнувший из-под земли Январь Якимыч схватился за них и потащил из дверей. Меркулыч был в одном белье, посинелая голова с открытыми мутными глазами безжизненно стукнулась о порог, руки были вытянуты; Январь Якимыч припал ухом к груди Меркулыча, пощупал пульс и, перекрестившись, прошептал:

— Кончено-с... все кончено-с!..

Ребенок, сидевший на руках бабы, дико вскрикнул, когда увидел синее лицо Меркулыча, я точно проснулся от этого отчаянного крика и заплакал; отец стоял около меня и тоже плакал.

VII

Через неделю после смерти Меркулыча я уехал в Гавриловск; говоря правду, мне, пожалуй, уж наскучило жить в Таракановке, да и перспектива увидеть Симочку сильно заманивала меня. Действительность жестоко обманула Кира Обонполова. В ближайшее воскресенье я отправился в Заплетаево, одевшись в новенький камлотовый сюртучок, который мне сшила мать перед отъездом. С замиравшим сердцем я подходил к домику о. Марка, и первое, что неприятно поразило меня, это пролетка Иринарха, стоявшая у подъезда. На минуту во мне колебалось желание видеть Симочку, чтобы не столкнуться носом к носу с Иринархом, но потом мной овладела какая-то отчаянная решимость, и я смело вошел в переднюю. В зале никого не было, но из голубой гостиной доносился звонкий голосок и смех Симочки, что еще больше меня ободрило. Отворив дверь, я остановился в недоумении, так меня поразила представившаяся моим глазам картина: на небольшом голубеньком диванчике сидел Иринарх и держал

на раздвинутых руках моток ниток. Симочка стояла перед ним и с веселым щебетанием свивала нитки в клубок. Мое неожиданное появление смутило и даже рассердило девочку, — нет, теперь уже не девочку, а целую барышню, которая ходила уже в длинном платье. Она взглянула на меня исподлобья и, вздернув носиком, совершенно равнодушно проговорила:

— А... это ты, Кирша... — И больше ничего, точно в комнату вошла кошка. Иринарх не только не смутился, но с своей неизменной улыбкой поманил меня к себе пальцем и, передавая мне моток ниток, певуче проговорил:

— Я, брат, поработал в свою долю, теперь твоя очередь.

Симочка сильно изменилась в течение лета — выросла, побледнела, отпустила длинную русую косу; на ней было надето шерстяное синее платье, в русых волосах чернела бархатная ленточка. Я покорно взял из рук Иринарха моток ниток и стал его держать, но в этот раз мне не было суждено угодить Симочке, — ей все не нравилось, она десять раз поправляла мои руки, сердилась и рвала одну

нитку за другой. Моя попытка занять ее рассказом о Меркулыче не только не привела к желанной цели, но даже, наоборот, вызвала сильное неудовольствие, и Симочка, надув пухлые губки, сердито проговорила:

— Очень мне нужно знать, как повесился ваш Меркулыч... Ты, Кирша, совсем поглупел и не придумал ничего лучше. Держи руки прямее, говорят тебе!..

Это было уже слишком даже для совсем влюбленного, и Кир Обонполов почувствовал, как что-то защипало у него в носу, сдавило горло и потемнело в глазах. Оставался один только шаг, и я расплакался бы самым глупейшим образом, но меня спасла в самую критическую минуту одна роковая мысль, которая, как молния, осветила всю картину... Да, я сразу понял все, и в моем детском сердце закипела сильнейшая ревность к моему счастливому сопернику, которым был, конечно, не кто иной, как Иринарх. Теперь я понял смысл той сцены, свидетелем которой сделался так неожиданно, понял источник звонкого смеха Симочки с Иринархом и ее коварное поведение относительно меня. Ослепленный

собственным своим чувством, я даже не сообразил того, что не имел никаких прав требовать что-нибудь и что вообще она держалась со мной на равной ноге, как мальчик; я никак не мог одолеть той мысли, что прежней Симочки уже нет, а есть другая Симочка, которая перешла в другой возраст и оставила меня сразу далеко назад.

По лицу Симочки я прочитал, как по книге, что она смотрела на меня с презрением, — значит, все было кончено; я холодно простился с ней и печально побрел к выходу. В зале я встретил Агнию Марковну, которая по своему обыкновению бесцельно бродила из комнаты в комнату и что-то жевала. Она остановилась и посмотрела на меня тем особенным взглядом, когда человек старается что-нибудь вспомнить; мне показалось, что она все знала и жалела меня. Она еще сильнее пополнила, точно распухла, но была по-прежнему неподвижно-красива, точно сейчас встала с постели; пухлые руки с пальцами, унизированными блестящими кольцами, висели совершенно бессильно в таком положении, как будто после самой тяжелой работы.

— Где Симочка? — спросила меня Агния Марковна, вероятно, затем, чтобы сказать что-нибудь.

Я ничего не ответил ей и как сумасшедший выбежал из гостиной: меня давила эта роскошь, эти трюмо, бархатные обои, мягкая мебель, бронза, ковры, мне страстно захотелось на свежий воздух, на берег Ирени, где бы я мог броситься под своей любимой вербой в густую траву, спрятать в ней свое лицо и здесь выплакать свое горе и приготовиться к тому, что меня ожидало впереди. Я был уверен, что Иринарх будет мне мстить, и мысленно прощался со всем, что было мне дорого. Когда я проходил уже под окнами, меня остановил голос о. Марка:

— Эй, паренек, постой!

Я остановился. Из окна кабинета выставилась голова о. Марка в неизменной меховой шапке, и его изрытое оспой лицо с узенькими черными глазками смотрело на меня с веселой улыбкой.

— А что отец? — спрашивал о. Марк, свешиваясь из окна; он был в одной ситцевой рубашке.

— Кланяется вам...
— Спасибо; здоров?
— Здоров.
— Хорошо. А что Аполлон?
— Служит.
— На пятнадцать рублях?
— Да.
— Гм... не много. Ну прощай, паренек, учись хорошенько, а будешь писать домой, напиши от меня поклон отцу Викентию.

Итак, все было кончено, решительно все, и я в глубоком раздумье брел на свою квартиру, к Ивану Андреевичу; даже мысль сделаться доктором показалась мне совсем жалкой: стоило быть доктором, когда... Словом, я переживал все то, что переживают все отвергнутые любовники.

Против моего ожидания, Иринарх не только не преследовал меня, но даже был вежливее, чем раньше. Хождение в классы, спевки, пребывание у Иринарха — словом, колесо моей жизни закрутилось своим обычным ходом, за исключением одного маленького обстоятельства, которое сначала меня сильно испугало. После одной спевки, которая происходи-

ла в келье архимандрита, Иринарх велел мне остаться. Сначала я подумал, что когда остальные певчие уйдут, Иринарх велит принести розог и задаст мне одну из своих художественных порок; но каково было мое удивление, когда вместо розог Иринарх начал угощать меня пряниками, конфетами и все время самым ласковым образом выпрашивал об отце, брате, нашей семье и нашей жизни. Особенно подробно Иринарх расспрашивал меня о брате Аполлоне.

— Так он служит в заводе, — в раздумье говорил Иринарх, — получает пятнадцать рублей жалованья... Это очень не много... да, не много... Как ты думаешь, Кир, «не царь персидский»?

«Не царь персидский» думал то же, что и архимандрит Иринарх, а пока последний в раздумье ходил по комнате, Кир таракановский успел, «тайно образуяще», стянуть со стола в карман несколько горстей конфет, что сделал единственно в тех видах, чтобы доказать Гришке и Антону, что Иринарх не порол Обонполова, а угощал. Иринарх оставил меня даже ужинать и все время болтал со мной о

всевозможных пустяках; мне еще раз пришлось убедиться, как иногда меняются люди: Симочки не было, и точно так же не было прежнего Иринарха. Новый Иринарх был очень умный и очень веселый человек, который шутил и смеялся со мной, как Меркулыч, и даже раз спросил:

— А что, «не царь персидский», тебе нравится Симочка?

Я, конечно, растерялся, покраснел и даже, грешный человек, подумал, что вот теперь-то и начнется порка, как раз в середине отличного ужина, но еще раз ошибся: Иринарх только засмеялся своим загадочным смехом и проговорил:

— Ну, успокойся; она тебя тоже очень любит... Она мне сама рассказывала. Симочка очень умненькая девочка... Да?

Иринарх пил все время вино и заметно покраснел. Глаза у него сильно слипались, и он все улыбался, потирая свои белые руки; он несколько раз спрашивал меня, чем я хочу быть: попом или монахом. Я отнекивался и как-то случайно проговорился, что думаю быть доктором. Иринарх раскрыл глаза, вни-

мательно посмотрел на меня и в раздумье проговорил:

— Что же... отличная вещь. Не ходи, братец, в попы, это главное, а там на все четыре стороны — нынче везде дорога.

Когда я пошел домой, Иринарх остановил меня и заговорил:

— Вот что, Обонполов: у твоего брата хороший голос?

— Да.

— Так ты напиши отцу, что чем Аполлону глотать заводскую сажу за пятнадцать рублей, пусть едет сюда. Меня отец Марк просил похлопотать о нем... Сначала послужит псаломщиком, а там, глядя по заслугам, и если женится, мы его в дьяконы поставим... Понял? Так и напиши отцу.

В простоте своей души я так все и принял за самую чистую монету и даже был готов полюбить Иринарха, если бы он на время совсем не забыл обо мне, точно между нами не было никаких разговоров и точно он не знал, что я буду доктором.

Наступила зима, и город и Гавриловский монастырь замело белым пушистым снегом.

Время тянулось чертовски медленно, тем более что я не посещал уже о. Марка и только издали несколько раз видел заплетаевских поповен, когда они вдвоем катались на санках-беговушках. Моя любовь к Симочке начинала угасать, и я вполне углубился в недра мудреной бурсацкой науки, где каждый шаг вперед нужно было брать зубом, как говорил отец. Зато письма, которые я изредка получал из Таракановки, доставляли мне глубокое наслаждение, и я даже потихоньку плакал над ними, упрекая себя в неблагодарности, потому что имел глупость променять целую Таракановку на одну Симочку. Правда, эти письма отличались большим лаконизмом, и их содержание больше вертелось около хозяйственных вопросов, вроде того, что корова Верочки отелилась пестрым бычком и т. д., но я умел по этому скудному содержанию восстановить жизнь в Таракановке в самых ярких красках.

Перед святками я получил очень длинное письмо, которое было написано рукой отца, его ровным твердым почерком, который я так любил. Между прочим, отец писал: «Брат

твой Аполлон зело огорчает нас с матерью своим поведением. Недавно Аполлон объявил нам с матерью, что он возымел намерение сочетать себя браком с женой Меркулыча; разумом помраченный сын не хочет слышать наших увещаний, упорствует и негодует, ради своей неистовой страсти и плотоугодных любве... Сей злебеснующийся брат твой делает нас с матерью прискорбными даже до смерти.

Учись, Кир Викентьевич, уважай старших, люби своих начальников, иже, любя, наказуют; ты наш Вениамин, а наш Иосиф сам предался в руки новой жены Пентефрия. Кланяйся о. Марку; о предложении Иринарха подумаем, и проч.»

VIII

На святки я не ездил в Таракановку и проводил время самым печальным образом. Больше всего меня огорчило то обстоятельство, что после письма, в котором отец жаловался на Аполлона, я в течение целого месяца не получал ни одной строки, хотя сам писал исправно через две недели; когда святки прошли и наступили занятия, я даже обрадовался им, потому что мое одиночество надоело мне хуже тюрьмы. Однажды, в первых числах февраля, я зубрил из филаретовского катехизиса, Антон лежал на лавке и плевал в потолок, в это время дверь в комнату отворилась, и показалась лохматая голова кучера о. Марка.

— Тебе кого надо? — закричал Антон, запуская в кучера латинским словарем.

Лохматая голова на мгновение скрылась, и потом уже за дверями послышалось:

— Здесь квартирует таракановский попovich? Отец Марк прислал за ним...

Я торопливо надел свой камлотовый сюртучок, шубу и вышел на улицу, где меня до-

жидались уже лубочные пошевни. Через полчаса мы подъезжали к домику о. Марка, и я никак не мог понять, зачем ему было нужно меня. В голове у меня даже мелькнула страшная мысль, что не умер ли мой отец, вообще предчувствие чего-то дурного не оставляло меня всю дорогу. Когда я вошел в переднюю и снимал галоши, какая-то девочка бросилась ко мне на шею и молча принялась целовать меня; в первую минуту я принял ее за Симочку; каково же было мое удивление, когда эта девочка заговорила голосом Верочки... Да, это была Верочка, а из гостиной доносился до меня веселый голос отца.

— Ну что, доктор, обрадовался? — говорил отец, когда я бросился обнимать его. — Вот, братец, тебя приехали проведать...

В голубой гостиной на диване рядом с Агнией Марковной сидела моя мать и улыбалась счастливой улыбкой; Надя в новом ситцевом платье «с лазоревыми цветочками по розовому фону» ходила, обнявшись с Симочкой, которая, кокетливо ежа плечиками, прищуренными глазками смотрела на Аполлона, мрачно сидевшего в углу комнаты. Словом,

вся наша семья была в полном своем составе, и я не знал, как разделить себя между ними. О. Марк, по случаю приезда гостей, облекся в лежалый подрясник табачного цвета, только что вынутый из сундука; он весело щурил свои маленькие глазки, торопливо бегал по комнате маленькими воробьиными шажками и несколько раз повторял одну и ту же фразу:

— Однако ты, Викентий Афанасьич, постарел... Сильно, брат, постарел!

— И ты, отец Марк, не помолодел, — добродушно отвечал отец.

— А ведь, подумаешь, давно ли мы с тобой на одной скамье сидели... а? Ведь и Иван Андреич жив... Помнишь: «Иван Андреич, гусь-ка привезу»... Горячо порол... бывало, как засыплет лоз пятьдесят...

— Ах, папа, какой ты разговор нашел! — томно заметила Агния Марковна. — Неужели нет другого разговора...

Мать с замечательным искусством перевела речь с «березовой каши» на какой-то другой разговор. Аполлон все время просидел в углу, отделяваясь односложными ответами;

он был не в духе и нервно покручивал небольшие черные усики. Я с первого раза заметил, что все наши были разодеты во все новое, и с удивлением рассматривал новые платья на сестрах и матери, новый подрясник на отце и новый суконный сюртук на Аполлоне. На эту поездку в Заплетаево, чтобы не ударить лицом в грязь перед о. Марком, был затрачен целый годовой доход отца и даже были взяты деньги в долг у Рукина. У Аполлона были новенькие серебряные часы, что по моим понятиям было верхом роскоши. Глядя на туалет сестер, никто даже и не подумал бы, что Верочка дома сама моет полы и сама доит корову, а мать с Надей просиживают целые ночи над работой «в люди». Смысл этого маскарада и таинственного превращения из художественно наложенных заплаток во все новое объяснился для меня только через несколько дней, в течение которых происходили какие-то таинственные совещания, обмен многозначительными взглядами и улыбками — словом, целый ряд самых замысловатых поступков. Особенно меня удивляла мать. Она держала себя с большим гонором и

ничему не удивлялась; Верочка держала себя точно так же и не выдавала себя ни одним движением, только бедная Надя попадала впросак на каждом шагу и не умела скрыть своего удивления перед роскошью нарядов заплетаевских поповен, ощупывала мягкую мебель и постоянно спрашивала, сколько стоит такая-то вещь и где куплена. Вообще, Надя была неисправима, и мать каждый вечер читала ей длиннейшие нотации.

Отец с о. Марком ездили с визитом к Иринарху и приехали оттуда в самом блаженном настроении; о. Марк петушком забегал впереди отца и, показывая два ряда черных зубов, повторял: «Что я тебе говорил... а? Я тебе говорил... а? Это, брат, такой человек... такой человек»... Потом отец с о. Марком долго о чем-то беседовали в кабинете с глазу на глаз, туда же была приглашена мать, и опять совершилась та же таинственная беседа. Надя в обнимку с Симочкой ходили из комнаты в комнату. Верочка сидела с Агнией Марковной; Аполлон ходил по зале из угла в угол, безостановочно курил папиросы, постоянно вынимал из кармана часы, открывал их и, не

взглянув на циферблат, снова прятал их в карман. Наконец эти таинственные совещания кончились, отец и мать показались из кабинета с самыми торжественными лицами, о. Марк улыбался и утирал грязным платком глаза; все сели.

— Теперь нужно спросить Агнию Марковну, — торжественно заговорил отец, — теперь за ней слово... Я, Агния Марковна, учился с твоим отцом, жили мы душа в душу, поженились, и вот бог наградил нас детками. Детки подросли... нужно пристраивать... Вот мы говорили...

Аполлон бледный, как полотно, смотрел своими серыми глазами на отца. Агния Марковна покраснелась и одной рукой перебирала оборочку своего платья; мне было и совестно, и больно, и как-то неловко за всех.

— Одним словом, Аполлон Обонполов делает вам предложение, Агния Марковна! — отрезал, наконец, отец. — Дело это очень важное, поэтому вам следует о нем хорошенько подумать, а мы подождем...

— Я... я не думала... я... — заговорила Агния Марковна, опуская глаза. — Папа... если...

— Конечно, Аполлон не кончил курса в семинарии, — заговорила мать, — но у него отличный голос... Архимандрит обещает ему дьяконское место.

Агния Марковна как-то испуганно, широко раскрытыми глазами посмотрела сначала на мать, потом на о. Марка, разом побледнела и, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты.

— Вот оно какое дело-то девичье, — снисходительно заговорил отец: — разговору даже боится...

— Это даже очень хорошо, — строго заговорила мать. — Агния Марковна, как воспитанная девушка, и в мыслях, конечно, ничего не имели, а тут вдруг...

— По-моему, живи не живи у отца, а все замуж выходить придется, — как-то плаксиво затащил о. Марк. — Только Агния у меня добрая душа... она... тяжело будет мне расставаться с ней, старику...

— Дело житейское, — смеялся отец и рассказал приличный случаю анекдот о том, как одна дочь говорила матери, что «хорошо тебе, маменька, было выходить замуж за папеньку, а ведь мне приходится идти за чужого».

Мать вышла из комнаты и через несколько минут вернулась с Агнией Марковной, которая заметно успокоилась и изъявила свое согласие. Жениха и невесту заставили поцеловаться, потом все молились, вечером приехал Иринарх, веселый, любезный, красивый. Подано было шампанское, и все пили за здоровье жениха и невесты.

— Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене, — певуче говорил Иринарх, отпивая маленькими глотками из своего бокала.

Все были очень веселы, улыбались и вообще чувствовали себя необыкновенно хорошо; даже Аполлон повеселел и снисходительно улыбался Агнии Марковне. О. Марк несколько раз принимался рассказывать о том, как его пороли, Иринарх улыбался и, полузакрывая глаза, говорил:

— Это было прежде... Ведь дети, разве можно с них требовать? Я так люблю детей...

Иринарх даже прослезился.

Вечером этого многознаменательного дня произошло некоторое событие, кончившееся для меня самым печальным образом. Когда я

вернулся из Заплетаева на свою квартиру, в моей комнате сидели Антон и Гришка, благодушествуя около графина с водкой. Они были сильно пьяны и недружелюбно посмотрели на меня мутными глазами; Гришка, как блудный сын, не присутствовал при сегодняшнем торжестве, но откуда-то уже все знал и встретил меня вопросом:

— Ну, будущий родственник, шампанское пил с Иринархом?

Я ничего не отвечал, предчувствуя что-то недоброе.

— Убили бобра... Ха-ха! — засмеялся Гришка, обращаясь уже к Антону. — Аполлон-то бельведерский пощелкал-пощелкал зубами в Таракановке и придумал: «Дай женюсь на богатой невесте»... Так я говорю, Антон?

— Та-ак, — соглашался Антон, как-то забавно поднимая брови кверху.

— Расчет самый верный... ха-ха! — продолжал Гришка, вышивая рюмку водки. — На голодные-то зубы и Агния Марковна сойдет за настоящую невесту... Убили бобра!.. Агния-то Марковна три года жила с Иринархом, надоела ему, да и Симочка подросла — вот дурака

подходящего и подыскали столкнуть Агнию Марковну... Живет старуха за барином! А то позабыли, что я наследник... Ха-ха!.. Я им всем утру нос-от... Думают, умрет отец Марк, мы все наследство и заберем. Как бы не так!

— Ты говоришь, Гришка, Агния-то три года с Иринархом жила? — спрашивал Антон.

— А то как же иначе, конечно, жила: я сам от нее записочки Иринарху возил...

— А теперь, говоришь, он Симочку к рукам прибирает?

— Верно... конфеты ей возит, улыбается... У-у, разбойник! Гришка, брат, все видит, да ему наплевать на них на всех, мне отдай наследство — а там черт с вами со всеми.

— А ловко Иринарх облапошил Аполлошку Обонполова.

— Еще как ловко: как сани подал, садись да поезжай. Во дьякона обещал поставить Аполлошку-то... Ха-ха... Сливочки-то отец Иринарх снял, а отец дьякон после него снятое молочко будет допивать... Ха-ха!.. Агния мне сестра, а я всем скажу, что она с Иринархом жила... И в рожу наплюю Аполлошке, зачем за чужим наследством гонится!

— Сокрушу зубы грешника, и возрадуются кости смиренные, — заключил Антон.

Вся эта сцена мелькнула предо мной в каком-то тумане; помню только, как во сне, как что-то сдавило мне горло, помню, как у меня от бешенства перекосило все лицо и как я бросился со стулом на Гришку. Затем я очутился на полу, кто-то меня таскал за волосы, плевал мне в лицо, и, наконец, послышался голос Антона: «Давай, Гришка, потопчем наследника»... Меня начали топтать ногами, давили грудь коленкой, и, наконец, все скрылось в каком-то тяжелом тумане. Когда я очнулся, в комнате никого не было, я по-прежнему лежал на полу, а в окно смотрела яркая луна; мне почему-то показалось, что я не Кир Обонполов, а Меркулыч, которого на моих глазах колотили Прощка с Вахрушкой... Меркулыч так же лежал на полу и так же не мог пошевелить ни одним пальцем; припоминая разговор Антона с Гришкой, я позабыл о собственном положении и задрожал от подавляющего чувства унижения... Что они говорили о моем отце, об Аполлоне, об Агнии Марковне, о бедной Симочке!.. Бедная Симочка... Я

никогда так не любил ее, как в эту минуту, и мне невыразимо приятна была одна мысль, что я, вступившись за нашу фамильную честь, пострадал отчасти и за нее, даже пролил несколько капель крови.

Я кое-как дополз до своей кровати и здесь забылся тяжелым, ужасным сном; утром Иван Андреич пришел будить меня, но я мог только мычать. Старик испугался; явилась Ариша, впрыснула меня холодной водой, но и это всесильное средство не помогало. Решили послать в Заплетаево. Помню, как вбежала в комнату моя мать, припала к моей постели и громко заплакала; потом явились отец, о. Марк, Аполлон. Все выпрашивали меня, но я не говорил ни слова о том, кто меня бил и за что; даже приехал Иринарх и тоже пытался меня, но я выдерживал характер и отказался рассказывать что-нибудь наотрез. Исчезновение Антона и Гришки было поразительно, но, кажется, никто не обращал на это внимания; только вечером, когда со мной сделался бред, я разболтал имена моих врагов, их схватили в кабаке у Катеньки и посадили в карцер. Мать целых три дня не отходила от

меня, пока я настолько не поправился, что мог обходиться без ее помощи; она больше ничего не спрашивала от меня и даже старалась плакать потихоньку от меня. Я долго не решался рассказать ей все, но мысль, что Антон и Гришка все равно попались и что они теперь для собственного спасения могут оболтать меня, — эта мысль наконец развязала мой язык, и я со слезами рассказал матери все. Мать молча выслушала меня и проговорила:

— Мало ли что говорят, Кирша... А если бы они тебя убили!

— Мама... зачем они так говорили о Симочке? Я зарежу Гришку... Возьму нож и зарежу.

Матери стоило большого труда успокоить меня; мне было четырнадцать лет, и я мало-помалу поддался ее ласковым речам, поцелуям и тихим утешениям. Между прочим, она обещала мне, что никому не скажет ни слова о моей истории, и я помирился с мыслью не резать Гришку.

— Нам сколько горя-то было с Аполлоном! — говорила мать. — Разве лучше будет, если он женится на Лапе? Агния Марковна —

воспитанная девица, напрасно говорят про нее разные пустяки.

Итак, я пострадал, пролежал три дня в постели, и на четвертый день меня перевезли в Заплетаево, где я целую неделю щеголял с перевязанной головой и пластырями на спине. «На молодом теле и не это износится», — утешал меня о. Марк, и, действительно, мои синяки и ссадины изнасились как раз к свадьбе, к которой происходили самые деятельные приготовления, так что в их шуме совсем позабыли обо мне, что меня сильно огорчало. В доме о. Марка происходила вдесятеро большая суматоха, чем на свадьбе Меркулыча: те же полосы всевозможных материй, те же песни, девичники, обручение и прочие церемонии, для которых выбивались из сил все до последнего человека. О. Марк метался, как мышь в западне, по всему дому с какими-то ключами, кричал, прискакивал на одной ножке и успевал сто раз рассказать о том, как его «кормили березовой кашей». Иринарх приезжал каждый день, привозил с собой конфет, певчих и подарил моим сестрам и Симочке по золотому браслету, а невесте аме-

тистовое кольцо. Это была такая роскошь, от которой у нас глаза разбежались; мы с каким-то удивлением смотрели на Иринарха, точно он был чародей, которому стоило трянуть рукавом своей рясы, и из нее, как из рога изобилия, посыплется дождем сотни браслетов.

Гришка и Антошка сидели все время в карцере; я по случаю свадьбы в училище не учился и несколько раз из любопытства проходил мимо карцера. Раз в узеньком окне с толстой железной решеткой я заметил лицо Гришки, он тоже увидел меня и закричал своим диким голосом: «Наследник, изведи из темницы душу мою!»

Несчастной женитьбе Аполлона решительно не везло, и она закончилась крупным скандалом. В самый день свадьбы к домику о. Марка, весело позванивая бубенчиками, подкатила совсем взмыленная тройка; из кибитки вышел худой старик небольшого роста с золотыми очками на носу. Это был такой славный и такой добрый старичок! Он весело поздоровался с нами, звонко высморкался в передней и прямо в своих мягких пимиках

неслышными шагами, как котик, прошел в кабинет о. Марка.

— Это дядя Симочкин, — решила Надя.

Я был очень доволен, что у Симочки такой славный дядя, и скоро совсем позабыл о нем. Да и было когда позабыть, потому что через час было назначено венчание, и во дворе стояло уже несколько троек из поезда жениха; я был шафером и совсем обезумел от радости, когда Симочка своими маленькими ручками приколола к борту моего сюртука прелестный розовый цветочек. Отъезд в церковь, обряд венчания, затем возвращение домой — все это проходило, как в тумане; помню, как отлично пели наши училищные певчие, как дьякон «отхватил апостола» и особенно налег на слова: «жена да боится своего мужа»; затем помню, что невеста была во всем белом, что Аполлон держал себя молодцом, что я бежал куда-то с небольшой иконой, и что меня сильно толкали, и что я тоже всех толкал и все старался быть непременно вместе с Симочкой, одетой в белое кисейное платье и походившей на ангела.

Когда мы вернулись из церкви, в дверях

домика о. Марка бойкая старушка-сваха встретила молодых с решетом в руках и обсыпала их хмелем, потом все прошли в зал, отец и мать стояли с иконами в руках, около них стоял о. Марк и тоже держал икону. Молодых благословили, певчие пропели «гряди от Сиона, невеста моя, гряди, голубица моя»... и явился Иринарх; все поместились за один длинный стол, поздравляли молодых и кричали: «Горько!» Молодые целовались, мне это очень нравилось, и я тоже кричал: «Горько!»

— Доктор знает свое дело хорошо, — шутил Иринарх на мой счет.

Под конец обеда, когда общее веселье было во всем разгаре, двери кабинета о. Марка растворились, и на пороге показался дядюшка Симочки в своих пимиках; я только что хотел крикнуть: «Горько, дядюшка!», как взглянул на отца и остался с открытым ртом. Отец страшно побледнел, молча поднялся с своего места и страшно посмотрел на сладко улыбавшегося дядюшку; мать схватила отца за рукав, а о. Марк заплетавшимся языком лепетал:

— Се что добро и красно, во еже жити, бра-

тие, вкупе...

— Подлец!.. — загремел отец и так ударил кулаком по столу, что рюмки и бокалы полетели с него на пол.

Дядюшка перестал кланяться и вопросительно посмотрел кругом; Иринарх уговаривал отца, о. Марк, как угорелый, метался по зале.

— Ты меня пустил по миру... — задыхавшимся голосом, с налитыми кровью глазами дико кричал отец: — Будь же ты от меня навеки подлец... Викентий Обонполов не будет тебе кланяться... Викентий...

Отец зашатался на месте и упал на стул; я понял, что сладенький дядюшка был не кто иной, как знаменитый консисторский секретарь Амфилохий Лядвиев.

Через два дня отец умер от апоплексического удара. Мать была до того убита этим страшным горем, что даже не могла плакать. Уже после похорон она как будто пришла в себя и в первый раз горько-горько заплакала. Эти слезы были вызваны словами Нади, которая припомнила, что перед самым отъездом из Таракановки без всякой видимой причи-

ны знаменитая картина, висевшая в передней нашей квартиры в Таракановке, упала сама собой на пол.

— Чужало мое сердце, что это не к добру, — шептала мать, не вытирая слез.

ЭПИЛОГ

Год смерти моего отца был последним годом моего учения в гавриловском духовном училище, из которого я перешел в ...скую семинарию. В семинарии я проучился четыре года «в качестве казеннокоштного» и отсюда поступил в Казанский университет. Пока я учился в семинарии, брат Аполлон получил дьяконское место при гавриловском монастыре, прослужил здесь два года, спился и через два года умер от чахотки. Иринарха тоже давно не было на свете. Это случилось так: «во едину от суббот», когда в училище происходила экзекуция, Иринарх под колоколом заporол одного ученика. Как ни силен был архимандрит, он не мог замазать этого дела. Назначено было следствие, причем всплыли и подвиги Иринарха с заплетаевскими поповнами, а главным образом — богатая монастырская казна оказалась совсем пустой, и даже была утрачена знаменитая архиерейская митра, осыпанная бриллиантами, сапфирами и аметистами. Скандал вышел совсем беспрецедентный, огласить который меньше всего бы-

ло в интересах духовных следователей, которые, чтобы как-нибудь замять эту темную историю, «сплавили» Иринарха на покой, куда-то на север, в один из самых глухих монастырей. Об этой истории долго говорили в ...ской губернии, но, как и многое другое на свете, эта история была унесена рекой забвения, особенно, когда все узнали, что медовый владыка Иринарх отдал наконец свою мудреную душу богу. Доктора Сергея Павлыча тоже давно не было: он кончил свои дни в заведении душевных больных в Казани, где я, будучи студентом, несколько раз имел случай наблюдать его; болезнь — тихое сумасшествие от размягчения мозжечка — была безнадежна.

Моя мать по-прежнему жила в Таракановке, у старшей моей сестры Нади, которая вскоре после смерти отца вышла за одного из представителей фамилии Портнягиных, бухгалтера таракановской заводской конторы. Верочка тоже была замужем. Она теперь носила фамилию Сермягиных. Моим сестрам выпала мудреная задача примирить эти искони враждовавшие между собою фамилии.

Прошло ровно десять лет после смерти отца, когда я в светлый июльский день на паре земских лошадей в какой-то таратайке подъезжал к Таракановке. В моем дорожном чемодане лежал диплом на доктора, значит, мечты Кира Обонполова превратились в действительность, хотя на мне и не было военного кителя и на козлах не сидел денщик Иван, как я мечтал об этом когда-то. Я только что кончил курс в Казанском университете и ехал на службу в ...ское земство.

Таракановский завод мало изменился за эти десять лет: те же прямые улицы, та же старая деревянная церковь, та же фабрика... Моя повозка выезжала на главную площадь. Вот и наш домик, вот волость, дома Прошки и Рукина, избушка Луковны. Попалось на встречу несколько рабочих, — физиономии совсем незнакомые, это уже другое поколение, которого я не знал. Расспросив, где живет Портнягин, мы остановились перед небольшим домиком в три окна, стоявшим позади волости. Вон идет какая-то старушка по двору с тарелкой в руках, она остановилась и внимательно смотрит на меня через

большие очки.

— Мама...

Старушка выронила из рук свою тарелку, бросилась ко мне на шею и горько заплакала, не переставая шептать каким-то страстным, задыхающимся шепотом:

— Кирша, Кирша... Вот отец-то не дожил до радости... Как бы он порадовался... а?.. Как ты постарел, Кирша...

— Мама, я устал с дороги.

Старушка посмотрела пытливым взглядом мне в глаза, точно она сомневалась в моей подлинности и не доверяла своим собственным чувствам. Пока происходила эта красноречивая немая сцена, кто-то дико вскрикнул у меня за спиной и повис на шее: по голосу это была Надя, но по наружности это была почти старуха, с желтой морщинистой кожей на лице, выцветшими губами и озабоченным взглядом.

— Как бы папа был рад... — пряча у меня на груди лицо, шептала Надя.

Через пять минут я сидел в небольшой опрятной комнатке, окруженный целым ро-ем молодых людей: был тут и Викентий, и

Аполлон, и даже Кир; две загорелых, смуглых девочки стояли немного в сторонке и не решались подойти к своему дяде; отчаянный детский вопль слышался откуда-то из-за перегородки. Надя и смеялась, и плакала, и конфузилась за эту полдюжину ребят, на которых разрывалось ее доброе, любящее сердце и которые унесли у нее молодость, песни и смех.

— И все это Портнягины? — спрашивал я, лаская русые головки.

— Все Портнягины...

— А Верочка?

— У Верочки нет детей, — с гордостью матери объяснила Надя.

Один из молодых людей успел уже сбегать за Верочкой, и она входила в комнату розовая и свежая, но не бросилась ко мне на шею, не заплакала, а очень степенно облобызала своего братца и не вспомнила при этом об отце. Мать, кажется, ошиблась в своей умной дочери, которая оказалась слишком расчетливой.

— О чем же вы плачете? — удивилась Верочка.

— Вот и Аполлоши нет... отца нет... — сквозь слезы говорила мать. — Не с кем и по-

радоваться... Когда горе, тогда не так тяжело без них, а вот ра... радость-то не в радость... Как-то обидно, Верочка... поднял бы их из могилы...

— А что Луковна? Январь Якимыч? — спрашивал я, чтобы перевести разговор на другой предмет.

— Живут... — с улыбкой сквозь слезы отвечала мать.

— А ты слышал про Лапу, что она замуж вышла? — спрашивала Верочка. — Вышла за Рукина, Емельяна Иваныча... Теперь купчиха, богатая стала. Дети у ней есть... При богатстве, конечно, дети хорошо, а при бедности не дай бог!

Верочка забросила камешек в огород Нади, но та только улыбнулась: «Дескать, из зависти это, матушка, пустяки говоришь».

Через час я знал уже все новости, какие были в Таракановке, и познакомился с мужьями сестер, которые мне очень понравились, как простые и добрые люди. Но это был чужой народ, — и эти хорошие люди и это второе издание Киров, Аполлонов и Викентиев; меня так и тянуло к Луковне и к Январю

Якимычу, к этим друзьям моего детства, которых мне страстно захотелось видеть, говорить с ними, послушать их старческую болтовню и унести в далекое-далекое прошлое.

Вечером я подходил к избушке Луковны, и при виде этой убогой лачужки у меня дрогнуло сердце, точно растаяла какая-то кора, которая выросла на нем за эти десять лет. Ворота были открыты, то есть не было уже столбов. Наклонившись, я вошел в темные сени и отворил дверь в комнату Луковны. Эта комната была так же убога, как десять лет назад. На деревянном кухонном столе стоял самовар и чашки с недопитым чаем. Сама Луковна сидела у стола на лавке и прищуренными глазами злобно смотрела на ходившего из угла в угол Января Якимыча. Старики сильно изменились: сторбились, похудели и точно выцвели. Луковна от прежней силы сохранила только режущий взгляд небольших черных глаз да твердый склад губ. Январь Якимыч, бедняга, совсем высох и походил на те «сухарины», то есть сухие деревья, которые иногда попадаются в лесу и среди живых деревьев кажутся такими несчастными. Старики настолько бы-

ли заняты собой, что не заметили моего появления.

— Красивее... красивее! — повторял старик, вытягивая тонкую жилистую шею.

— А вот и соврал, — отвечала Луковна: — ежели хвост крючком у собаки, — это не хорошо, а когда опущен, — красиво.

— Это, Луковна, только у бешеных собак хвосты опущены... Прожила ты до преклонных лет, а этого не знаешь!

— Ну, и ты не молод, батюшка.

— Здравствуйте, — заговорил я, не понимая ничего в этой сцене.

Старики посмотрели в мою сторону; Луковна поднялась со своего места и с радостной улыбкой проговорила:

— Как же это... да это ты, Кир... вы, Кир Викентьич? Ах, батюшки...

— Он! Он! — радостно возопил Январь Якимыч и, поспешно заключив меня в свои объятия, с раздражением в голосе начал жаловаться: — Вот она-с, — Январь Якимыч кивнул головой на Луковну, — совсем из ума выживать стала... Ей-богу! Должно быть, при древности своих лет, в понятии мешается.

— И ты, батюшка, тоже хорош! — обиженно заявила в свою очередь Луковна.

Старики опять сцепились на тему, какая собака красивее — с опущенным хвостом или с загнутым крючком. Они настолько увлеклись своим спором, что не обращали на меня никакого внимания, точно мы расстались всего вчера, а не десять лет назад. Это превращение в состояние полнейшего детства сильно огорчило меня, а потом рассмешило, когда старики опомнились и законфузились, причем старались свалить вину один на другого.

Дверь в бывшую комнату Меркулыча была открыта. Комната была совсем пустая, и я напрасно искал хоть какой-нибудь вещи, которая напоминала бы моего погибшего друга. Я заглянул в дальний конец комнаты, там на куче тряпья что-то зашевелилось.

— Кто это там у вас? — спросил я.

— А Кинтильян, может, помнишь? — отвечала Луковна. — За свое буйство да за материнны слезы господь и смирил.

— Как смирил?

— Это уж давно, года с два. Об рождестве Кинтильян где-то нахлестался водки да в сне-

гу и уснул. Тут себе ручки и ножки отморозил... Вот Январь их ему и обрезал. Теперь лежит, как колода. Не под силу мне его таскать-то... Спать бы, так сна, говорит, нету. Так вот и маемся... Корочку подашь, из блюдечка чаем напоишь — вот и сыт. Может, Лапины слезы да Меркулычева кровь отливаются, — прибавила Луковна. — Помнишь Меркулыча-то? Ведь тогда Кинтильян ворота им вымазал. Прощка с Вахрушкой напоили да пьяного и научили, как это сделать... Ох-хо-хо! Господь-то батюшка все видит, кто кого обидит. Любя наказует нас многогрешных... Прощки тоже уж нет, от горячки помер, а Вахрушку в драке кержаки убили.

Я прожил в Таракановке целое лето в видах поправления сильно расшатавшегося здоровья, собственно нервной системы. Я часто посещал моих стариков, то есть Луковну и Января Якимыча, которые постоянно ссорились между собой из-за разных пустяков и, как это случается, совсем не могли жить один без другого. Еще чаще, забрав своих племянников, я на целый день уходил куда-нибудь в лес и старался вести растительную жизнь по

преимуществу. Молодое поколение было без ума от таких прогулок, и мы не пропускали даром ни одного светлого ведренного дня. Лежать неподвижно по целым часам в свежей, мягкой, душистой траве, чувствовать каждой клеточкой животворящую силу солнечной теплоты, по целым часам смотреть в голубое небо, — что может быть лучше этого!

Здесь, на любвеобильной груди природы, я уносился в свое прошлое, где вставали дорогие для меня тени отца, Аполлона и Меркулыча. Воспоминания об отце всегда наталкивали на «секретаря», который сумел довести отца до могилы своей системой замолчания: мой бедный отец именно был замолчен и забыт в медвежьей глуши, повторив участь, вероятно, очень многих талантливых и честных людей, не умевших покориться. История Аполлона тоже поднимала много горечи в моей душе. Я понимал, какая роль досталась ему у Иринарха и почему он спился. Бедный Аполлон! А вот по этим горам, которые зеленеют теперь передо мной, купаясь в золотистом струившемся воздухе, по ним сколько раз мы ходили с Меркулычем... Счастливое,

беззаботное время! Дети веселой гурьбой окружали меня, цеплялись мне за плечи, заглядывали в глаза и смеялись чистым детски-беззаботным смехом, в который жизнь еще не вплела ни одной злой или неестественной нотки. Неужели и вас, русые беззаботные головки, ждут те же секретари, Иринархи, Прошки и Вахрушки?

*Пойте, резвитесь, дети.
Пойте, сплетайте венки!*

Ведь и я когда-то, давно-давно, улыбался такой же беззаботной счастливой улыбкой, а теперь... Отдохнуть хочу, отдохнуть хочу каждой каплей крови, каждой клеточкой. Я вполне понял теперь состояние Сергея Павлыча, который по целым дням кипятился из-за какой-нибудь ниточки: это был вытянувшийся на работе человек, у которого не было места живого на теле. Я понял Луковну с ее смешными предчувствиями и верою в сны: не такими ли же предчувствиями и не такой же верой в сны живет и все человечество, — так же работает, радуется, ждет, плачет и обращается в состояние детства, где иллюзии созда-

ния воображения получают силу и смысл действительности и человек получает способность ждать даже то, чего никогда не случится?

Примечания

Впервые напечатано в журнале «Устой», 1882, №№ 3–5, за подписью «Д. Сибиряк». На рукописи (хранится в Свердловском областном архиве) зачеркнуто заглавие «Медведица» и подзаголовок в скобках «Очерк среднего Урала». Над зачеркнутым написано: «Из воспоминаний одного доктора». Рукопись содержит также пометку: «Устой», март 1882 г.». В записной книжке 1891 года автор сгруппировал свои произведения по темам и жанрам. По первому признаку «На рубеже Азии» отнесено в раздел «О полах», по второму — в раздел «Повести» (см. Е. А. Боголюбов. Комментарии к собр. соч. Мамина-Сибиряка, Свердл., 1948, т. I, стр. 347). Печатается по тексту журнала «Устой».

Повесть под названием «Мудреная наука» осенью 1881 года была послана автором в журнал «Слово». «Мой рассказ «Мудреная наука» принят редакцией «Слово» и будет напечатан в первых месяцах будущего года», — писал Мамин А. С. Маминой 2 октября 1881 года.

Журнал «Слово», орган либеральных народников, был в конце 1881 года закрыт. 14 ноября 1881 года Мамин с сокрушением писал А. С. Маминой: «Слово» не выходит и, кажется, не выйдет, такая уж моя судьба — только приняли рассказ, и журнал перестал выходить», а 4 декабря он пишет: «Слово» погибло». В январе 1882 года повесть была передана, в журнал «Устой», где, по предложению А. М. Скабичевского, ей было дано название «На рубеже Азии». 26 февраля 1882 года писатель сообщал матери: «Мой очерк под названием «На рубеже Азии» уже набирается». Напечатанная в мартовско-апрельской и майской книгах «Устой», повесть не была оплачена журналом ввиду неудовлетворительного его материального положения.

В повести разработана популярная в литературе 1860 — 1880-х годов тема из жизни разночинной интеллигенции, в частности, выходцев из бедной части духовенства. К этой теме Мамин-Сибиряк обращался неоднократно.

Различные пути, которыми идут выходцы из духовной среды, показаны в рассказе «В ху-

дых душах» (см. т. 3 нашего издания). Дети деревенского попа Якова Кинтильян и Аня становятся на путь революционной борьбы, другие его сыновья создают свою карьеру на чиновной службе, а один из сыновей в урядники попал. Связь духовенства с господствующими классами отмечена Маминым во многих произведениях, в частности в романах «Три конца» и «Хлеб».

В поздних его произведениях из жизни духовенства критика сильно приглушена. М. Горький по поводу его рассказа «Любовь куклы» (1902 г.) писал: «Сильно смущает меня его последняя вещь... Не нравится мне его отношение к монастырю и монахам» (М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, ГИХЛ, т. 28, стр. 271).

Повесть «На рубеже Азии» получила в небольшом газетном отзыве Арс. Введенского весьма противоречивую оценку. По поводу «На рубеже Азии» и «Все мы хлеб едим» Арс. Введенский писал, что они обращают на себя внимание «жизненностью сюжетов, замечательною теплотой, искренностью и задушевностью», что в них «фигуры персонажей очерчены очень живо и типично... самые мысли

автора — не плод его личных кабинетных размышлений и фантазии, а результат живого наблюдения над жизнью», что «в «их отмечены и черты, общие всей нашей жизни». В противоречии с этой оценкой критик заявил, что «о художественности этих очерков говорить едва ли нужно и удобно» («Голос», 1882 г., № 133). Суть вопроса здесь в том, что у Арс. Введенского и Мамина-Сибиряка были различные представления о художественности. Мамин-Сибиряк мог иметь в виду и Введенского, когда он сурово осуждал кабинетных критиков. «Почему у нас не может быть критики, а есть авторы, — писал он. — Первые создаются кабинетом, а вторые жизнью. Критическая мысль вращается в безвоздушном пространстве — ей не за что уцепиться, и она тащит за собой податливых авторов, которые под конец задохнутся в этом самоковырянии, бессильныедохнуть свежим воздухом... Нет принципов в критике, а художественность — это абракадабра, ее нет, этой роковой формулы, а если есть художественность и поэзия, то это сама жизнь. Критика бессильна освободиться от прежних рамок и

категорий и топчется на одном месте: роман, повесть и т. д..., а жизнь творит все новые и новые формы, которые не подходят ни под одну из указанных рубрик». (Полностью не опубликовано. Рукопись хранится в Рукописном отделе Гос. библиотечного имени В. И. Ленина.)

Стр. 171. *...картина изображала знаменитую сцену, происшедшую между целомудренным Иосифом и женой Пентефрия.* — По библейскому сказанию, юноша Иосиф был продан братьями в Египет, к царедворцу фараона Пентефрию; жена Пентефрия неоднократно пыталась соблазнить Иосифа; однажды она схватила его, но он вырвался, оставив в руках ее свою одежду. Показав одежду слугам и мужу, жена Пентефрия оклеветала Иосифа, и его посадили в тюрьму.

Стр. 180. *Война гвельфов и гибеллинов.* — Гвельфы и гибеллины — политические партии в Италии XII–XV вв.; гвельфы боролись на стороне римских пап против германских императоров и их приверженцев в Италии — гибеллинов; гибеллины состояли в основном из представителей феодальной знати.

Стр. 186. *Гляжу я безмолвно на черную шаль.* — Неточная передача стиха Пушкина «Гляжу как безумный на черную шаль».

Стр. 232. *Камлотовый* — из грубой шерстяной ткани.

Стр. 239. *Казеннокоштный* — обучающийся на средства казны.

Note1

Что такое консистория? Консистория — это обирание попов, дьяконов, дьячков и просви-рен... (лат.).

[^^^]

Note2

До преобразования духовных уездных училищ в них полагалось три класса или отделения; в каждом отделении учились два года. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Note3

Шары — глаза. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Note4

Своего рода (лат.).

[^^^]

Note5

Соответствует русской поговорке: «Сытое брюхо к ученью глухо» (лат.).

[^^^]